

П Е Р Е Л О М

СБОРНИК СТАТЕЙ О СПРАВЕДЛИВОСТИ ТРАДИЦИИ

Е. А. БЕЛЖЕЛАРСКИЙ, М. К. КАНТОР, И. Д. ПОТАПОВ,
В. Т. ТРЕТЬЯКОВ, М. А. ТЮРЕНКОВ,
С. Ф. ЧЕРНЯХОВСКИЙ,
А. В. ЦИПКОВ

Составитель А.В. Щипков

Издательство ПРОБЕЛ-2000

Москва, 2013

УДК 821.161.1-1 ББК 84 (2Рос+Рус) 6-5

П 27 ISBN 978-5-98604-382-1

От составителя

Проанализировав российский политический жаргон, вы обнаружите в нём набор часто повторяющихся и давно потерявших смысл понятий: «реформа», «реакция», «оттепель», «заморозки». Либеральная риторика с завидной регулярностью уступает у нас место риторике патриотической, и наоборот. Этот пустой словесный круговорот порождается неутешительным состоянием нашей политической реальности. За периодом непродуманных реформ и разрывом социальных связей, как правило, следуют патетика охранительного толка и усиление надзорных функций.

Российская политическая история всё время ходит по кругу, при этом ни одна национальная проблема не решается. Но осознать причины этого постоянного и бессмысленного дежавю мешает привычная система словесных политических клише. Она блокирует критическую мысль и навязывает обществу набор *ложных альтернатив*. Например, либерализм и казённый патриотизм (он же либерализм в патриотическом камуфляже) в России — это не две идеи, а форма и содержание одной идеи. Но противопоставлять форму содержанию нелепо, да и политические конструкции, выстроенные по принципу антитезы, абсурдны.

Понятия и категории, к которым мы привыкли, не подходят для описания российской общественно-политической и социокультурной ситуации. Общество интуитивно это понимает, но боится себе в этом при-

знаться. По существу, мы сейчас находимся в положении, которое социологи называют «*спиралью молчания*». Это когда большинство знает о своей правоте, но психологически ещё не способно сказать «нет» меньшинству, которое продолжает контролировать ситуацию и манипулировать большинством. Но эта спираль не бесконечна. Нельзя получить достоверную картину событий, находясь в искажённой системе координат.

Другая трагическая особенность нашей истории — это многократный разрыв с традицией. Разрыв, который сам по себе давно стал традицией. И пока он не будет преодолён, страна не выберется ни из исторического, ни из политического тупика. Поэтому, безусловно, следует говорить о необходимости перезапуска традиционных общественных механизмов в России.

Этот перезапуск должен вывести общество на естественный и нормальный путь его самоорганизации и поэтому, на первый взгляд, требует перехода к последовательной консервативной политике. Но тут возникает серьёзная проблема. Встает вечный вопрос: *а что консервировать в России* — стране с неоднократно прерванной традицией? Этот самый разрыв? Монархию и другие реликтовые институты, не пережившие XX век? Рухнувший позднесоветский проект? Неолиберальный курс нынешней власти?

Возрождение исторических реликтов — заведомо проигрышная стратегия. Ностальгию можно урочивать, но нельзя применить к политическому строительству.

Необходимо совершить нечто иное: перезапуск самого кода традиции, который начнёт самовоспроизводиться. В отличие от охранительного, такой процесс может идти только снизу. Необходимо строительство национального гражданского общества. А это подразумевает, что в идеале не государство должно защищать традицию, а традиция — создавать государственные институты.

Какова же эта традиция?

Русское сознание отнюдь не анархично. Оно религиозно в самом широком смысле этого слова («тоска по сакральному») и нравственно, несмотря на весь сегодняшний аморализм, льющийся с телеэкранов и мониторов. Основная русская моральная ценность — справедливость. Обществу близка идея справедливости и социального равенства. Её разделял дореволюционный крестьянский «мир». Её разделяет и подавляющая часть населения современной России.

Природный русский консерватизм всегда соединял *Традицию и Справедливость* — «вечные ценности» и стремление к социальному равенству.

Сегодня это соединение можно определить как *левоконсервативный консенсус*.

Левоконсервативный консенсус необходим для того, чтобы нация могла утвердиться в поступательном историческом движении. Такая платформа отражает собирательную точку зрения российского большинства, не раскалывая его на «левых» и «правых». Она отвечает сегодняшней политической ситуации.

Именно сейчас настало время говорить о *справедливости традиции*, как бы парадоксально на первый взгляд ни звучало это сочетание слов.

Путь к выходу из исторического тупика требует выполнения условий, которые диктует нам национальная этика, морально-нравственный базис русского общества.

Национальная этика разрушалась в ходе смут и революций. Этот процесс продолжается как минимум с XVII века. Важнейшим этапом здесь следует считать 1917 год, когда понятия «традиция» и «справедливость» были искусственно оторваны друг от друга революционной большевистской идеологией. После этого Россия многие десятилетия жила с трагически расколотым сознанием, с разделённой общественной моралью. В так называемый постсоветский период проблема лишь усугубилась.

Но сегодня виден долгожданный перелом, который должен соединить два исконных нравственных начала и пробудить историческую память нации. На выходе из этого перелома необходимо воссоздать традиционный русский тип гражданского сознания и построить адекватное национальным интересам гражданское общество, которое бы определяло положение дел в информационно-политической, культурной, правозащитной и экономической сферах.

Нам надо нащупать пути к построению нравственного государства с реальной сословно-профессиональной демократией.

Необходимо возродить эстетические критерии в искусстве, забытые в угоду политическим жестам. Очевидно, что сегодняшнее «актуальное искусство» является продуктом политического и коммерческого заказа в не меньшей степени, чем идеологически выдержанное искусство советского времени.

Также требует адекватного осмысления незавидная роль интеллигенции, проявившей полную зависимость от политического истеблишмента. Разложение интеллигенции — свершившийся факт. Его надо признать и осознать. Вопрос лишь в том, кто придёт на смену этому сословию: органические интеллектуалы европейского типа или «креативный класс», навязывающий обществу всё новые и новые модели потребления.

Указанные проблемы лежат в поле непосредственного интереса левоконсервативной мысли. Само по себе сближение консерваторов и левых интеллектуалов неизбежно. Оно будет порождать не только политические альянсы, но и новые социальные сущности. Уже возникло и развивается учение о нравственном государстве. На повестке дня рождение социальной сотериологии — гуманитарного направления, в котором будут соединены вопросы религиозной нравственности и социальной справедливости.

Заботой левоконсервативного движения можно назвать «сбережение народа», но с одним единственным замечанием. Сегодня есть все основания говорить не просто о сбережении, а о *самосбережении* народа. История показывает, что никто другой, прибывающий

извне, народ не спасёт. Ни власть, ни оппозиция, ни ангажированная экспертократия, ни олигархический интернационал.

Русскому обществу необходима принципиально новая разметка идейного и политического пространства вместо той, что имеется сегодня. Коренной *перелом* в общественном сознании уже происходит — происходит сегодня, сейчас, когда наш сборник готовится к печати.

Все статьи, собранные здесь, готовились специально для сборника «Перелом» в течение полутора лет. Авторы, большинство из которых не знакомы друг с другом, разнятся своими религиозными, политическими, эстетическими взглядами. Но им присущ новый взгляд на проблемное поле российской политики, в частности, новое понимание роли справедливости и традиции. Кроме того, всех авторов объединяет любовь к отечеству и чувство ответственности за него.

Выход из идеологического зазеркалья в мир реальной истории неизбежен. И чем раньше он произойдёт, тем менее болезненным он будет для нас. Нам не нужны потрясения. Нам нужны традиция и справедливость. Нам нужна нормальная Россия.

ПЕРЕЛОМ

Православная этика и дух солидаризма

Времена, когда стандарты «самого верного и все-сильного учения» преподавались едва ли не со школьной скамьи, а «Манифест коммунистической партии» и «Капитал» зубрили и сдавали на выпускных и вступительных экзаменах, казалось бы, далеко в прошлом. В статье 13 действующей российской Конституции чётко прописано, что в России «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Правда, принималась эта «безыдейная» Конституция в конце 1993 года. При каких условиях и обстоятельствах это происходило — не буду вспоминать: люди, которым сегодня за 30, отлично помнят события тех дней, когда наша страна в очередной раз балансировала на грани гражданской войны. Но буквально спустя пару лет тот же человек, под которого писался новый Основной закон, поставил перед политологами и стратегами государственного курса задачу в течение года «разработать российскую национальную идею», которой «сейчас нет».

Уходя от «руководящей и направляющей», вооружённой всемогущей научной теории, никто и не предполагал, что пять лет спустя ниспровергателям и могильщикам коммунизма придётся спешно взяться за разработку новой идейной платформы для государства.

Лично мне понятно, что по указанию сверху национальные идеи не формулируются ни в течение

года, ни даже на протяжении той или иной политической эпохи. Они столетиями складываются в общественном сознании народа и при удачном стечении исторических обстоятельств становятся основой государственной идеологии. Не в навязшем в «зубах» нескольких поколений советском смысле (как некая квазинаучная догма, любое отступление от которой ереси подобно), но в образе чёткой парадигмы национального (а для России — и цивилизационного) развития.

Замечу, что в таковой парадигме отнюдь не должны быть прописаны точные параметры дальнейшего социально-экономического развития и уж тем паче — его конечная цель. Но это должна быть чётко прописанная система общественных ценностей, на которых конкретное государство должно выстраивать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Не забывая о том, что сама политика — не цель, а всего лишь средство. Да и «средство» опять же не для достижения конечной цели (её в реальной политике, по моему мнению, вообще быть не может), но для решения конкретных задач, главную из которых наилучшим образом сформулировал Александр Исаевич Солженицын — «народосбережение».

Кстати, ещё в XIX столетии не нуждающийся в особом представлении русский религиозный философ Владимир Соловьёв достаточно точно сформулировал христианское понимание национальной идеи: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Ему

же принадлежит и другой политический афоризм: «Задача права (*сегодня эту цитату нередко перевирают, заменяя «право» на «государство», что, впрочем, в нашем случае не меняет её смысла — М. Т.*) вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад» (Соловьев В. *Оправдание добра*. Гл. 17). По моему твердому убеждению, исходя именно из этих (и только из этих) постулатов и можно сегодня затевать проектирование некоего подobia российской государственной идеологии.

Младший современник Владимира Соловьёва — немецкий социолог Макс Вебер — в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) исходил из совершенно справедливого тезиса о том, что любая религия, помимо своей конечной (сотериологической) цели имеет и вполне конкретные общественные задачи, начиная с того, что любой религиозно-этический комплекс оказывает непосредственное влияние на общественные отношения, в том числе на экономику. И даже в условиях тотальной секуляризации (подобной той, что началась еще в эпоху так называемого «Просвещения», а сегодня, хоть и находится на своём пике, одновременно переживает серьёзнейший кризис, итоги которого предсказать не так-то просто) религиозная этика всё равно сохраняется в коллективном бессознательном нации.

Макс Вебер в своей книге прекрасно показал, как протестантские этические основы стали причиной возникновения западной капиталистической эко-

номической системы. И действительно, трудолюбие, бережливость и расчётливость, помноженные на религиозную концепцию индивидуального спасения (как базового основания современного западного индивидуализма, сегодня приобретшего воистину неязыческие антропоцентрические черты), были более чем благоприятны для формирования и возвышения буржуазии, которая в Российской империи в полной мере не реализовалась даже к началу XX века. Осмелюсь предположить, что и в современной России мы имеем дело лишь с подобием капиталистических отношений; в реальности же во многом сохраняется средневековая социально-экономическая система, конечно, модернизированная и секуляризированная, но лишённая своего базового основания — той самой протестантской этики.

Но что же есть в России? Как ни странно, православная этика. Вопреки многочисленным историческим вызовам Православию: государственной Смуте начала XVII века, церковному Расколу середины того же столетия, западническим реформам Петра I, Синодальному периоду, гонениям на Церковь века XX-го, наконец, пресловутым «лихим 90-м» — и несмотря на то, что за последние четверть века относительной церковной свободы столь чаемого православными людьми воцерковления русского народа так и не произошло, и те же русские женщины, увы, намного опережают европейских по числу детоубийств (будем называть вещи своими именами, ничуть не умаляя ответственности мужчин в этом преступлении).

И при всём при этом православная этика и сегодня на уровне коллективного бессознательного сохраняется. Она уже давно не выражается в поведении многих из нас — ни в переполненном общественном транспорте, ни в навязываемой нам офисной «корпоративной культуре», ни зачастую даже во взаимоотношениях в храмовой приходской среде. К сожалению, в своей обыденной жизни мы обычно не руководствуемся ключевыми этическими принципами Православия, базирующимися на сотериологическом принципе коллективного спасения. Но сам факт того, что в российском обществе по-прежнему высоко ценятся идеалы социальной справедливости, взаимопомощи и солидарности (пусть не в практическом смысле, но на аксиологическом уровне) наглядно демонстрирует то, что православная этика из нашего народа не вытравлена.

Более того, если мыслить не в категориях коммунальной квартиры, но попытаться выстраивать социальные отношения в рамках всей нации, то получается, что помимо религиозно-этических оснований ничто другое и вовсе не способно их регламентировать. Осмелюсь высказать мысль, что никакой «светской этики» сегодня и вовсе не существует, а то, что пытаются преподнести в её качестве, — не более чем симулякр, копия без оригинала. То есть сама этика вполне может существовать вне привязки к конкретной религиозной структуре и доктрине, но без корреляции с исторически доминирующими в данном обществе духовно-нравственными основаниями она

просто невозможна. В противном случае это не этика, а лишь этические (и эстетические, кстати, тоже) извращения — контркультура и контрэтика (наподобие радикального нигилизма XIX века или той же панк-культуры конца XX — начала XXI веков).

Так уж сложилось, но в России четко оформленного социального учения, базирующегося на православной этике, никогда не существовало. А в этой связи не существовало и оригинальной государственной идеологии (если не считать таковой «теорию официальной народности», сводящуюся к иерархии ключевых государственных ценностей — «Православия, Самодержавия, Народности», — но никогда не имевшей четко проработанной системы социально-экономических приоритетов). И в этом Россия, безусловно, уступала той же Западной Европе, где католическая церковь в условиях наступления протестантской Реформации смогла мобилизоваться и начать разработку собственной социальной концепции. В наших же условиях Церковь практически всегда была неотделима от государственной системы, для которой социальные отношения были не то, чтобы совсем не важны, но ответы на них имели исключительно реактивный, прикладной характер.

И именно здесь опыт католического общественно-го проецирования оказывается как нельзя кстати. Не только потому, что он долгое время противостоял той самой протестантской этике и духу капитализма (в итоге последний победил практически повсеместно, но даже в «веберовских» немецких условиях сумел

вместить в себя куда более мягкую форму буржуазного государства, нежели британская или в конечном счете американская). Одновременное противостояние католической социально-экономической рефлексии двум проекциям протестантской этики — либерализму и социализму — привели в XIX веке к возникновению особого учения — солидаризма, претендующего на оригинальное решение антиномии личности и общества, избегая экстремумов как индивидуализма, так и коллективизма, на основе утверждения христианской общественной гармонии.

Не буду перечислять всех основоположников католического солидаризма позапрошлого века, замечу лишь, что наиболее ярким воплощением этого направления стала энциклика Папы Римского Льва XIII от 15 мая 1891 года «*Regum Novarum*», в которой, в частности, есть одно очень важное утверждение:

«Огромная ошибка <...> состоит в убеждении, что классы изначально враждебны друг другу, и что богачи и бедняки по самой природе своей должны конфликтовать. Эта идея настолько иррациональна и ложна, что истиной является абсолютно противоположное утверждение. Так же как соразмерность человеческого тела является следствием взаимного согласия разных его частей и членов, так и в Государстве сама природа его предписывает классам, его составляющим, сосуществовать в гармонии и согласии, дабы Государство было устойчиво и уравновешено. Классы в равной степени нуждаются друг в друге: капи-

талисты не могут существовать без рабочих, но и рабочие не могут без капиталистов <...> Нет более мощного связующего звена между классами, чем Церковь, способная их объединять и напоминать каждому из них об их обязанностях по отношению друг к другу, особенно — обязанности заботиться о справедливости».

Понятно, что с точки зрения секулярных социалистов (тех же коммунистов), подобная позиция является «соглашательской», поскольку игнорирует марксистские догмы «классовой борьбы». Но именно потому, что для христиан утверждение неизбежности последней не является истиной (точнее, как мне кажется, таковая борьба неизбежна, но лишь в условиях тотального духовно-нравственного падения самих классов), именно снятие классового конфликта является первоочередной социальной ценностью. Понятно, что в последнем случае неизбежны уступки с обеих сторон, и именно в способности к таковым и заключается подлинно христианский (святоотеческий, а не протестантский) этический идеал. Кстати, один из основателей католического солидаризма рубежа XIX — XX столетий, экономист и священник отец Генрих Пеш предполагал достичь социальной гармонии именно путем обращения к совести. Он считал, что не государственные законы, а нравственные предписания, христианская любовь должны привести индивидуума к выполнению общественного долга.

Не углубляясь в исторический анализ католического солидаризма, можно сказать, что в итоге имен-

но он в значительной степени повлиял на формирование идеала социального государства в послевоенной Западной Германии (и, в частности, на идеологию баварского консервативного «Христианско-социального союза», по сей день входящего в правящую коалицию «ХДС/ХСС»). И в свете последнего сегодня вполне допустимы иные терминологические трактовки солидаризма — например, как «консервативного христианского социализма» или «христианского социального консерватизма». Однако и тот, и другой термин представляют собой достаточно громоздкие конструкции, приемлемые в политологии, но уже в политической публицистике — малоприменимые.

В некотором удалении от католического солидаризма сформировался и солидаризм русский. В генезисе последнего значительную роль сыграли идеи целого ряда русских мыслителей (нередко с совершенно разными убеждениями, но сходящихся в том, что в качестве абсолютной ценности выступают Православие и его этические идеалы): Владимира Соловьёва, протоиерея Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Семёна Франка, Ивана Ильина, Николая Лосского, Сергея Левицкого и некоторых других. Существенной проблемой актуализации этого учения стало то, что русский солидаризм на вооружение взяла довольно маргинальная политическая организация Русского Зарубежья — НТС («Народно-трудовой союз русских солидаристов»). Последняя дважды за свою историю запятнала себя «неразборчивостью в политических связях» — сначала с гитлеровцами, а затем и

с ЦРУ (хотя в её рядах было немало достойнейших представителей — от писателя и публициста Аркадия Столыпина, сына самого знаменитого российского премьер-министра, и уже упомянутого философа Сергея Левицкого до Глеба Александровича Рара, отца известного современного немецкого политолога русского происхождения). А потому в итоге, несмотря на то, что наследие Русского Зарубежья в последние четверть века пережило в России своего рода «ренессанс», социальные идеи русского солидаризма продолжают ассоциироваться исключительно с НТСовской практикой радикальной борьбы со всем советским. При том, что эти идеи, если говорить максимально упрощённо, были ничем иным, как религиозно и национально ориентированной производной «социализма с человеческим лицом» (разумеется, не в горбачёвском, но в христианско-гуманистическом понимании этого).

Судя по всему, последнее отлично осознают в Русской Православной Церкви, хотя напрямую и не афишируют это. Так, церковные «Основы социальной концепции», несмотря на то, что в них ни разу не употребляется термин «солидаризм» (и даже «солидарность»), в ряде своих положений содержат именно солидаристские положения (в особенности, в разделах «Труд и его плоды» и «Собственность»): *«Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество*

к справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, здоровый — больного, трудоспособный — престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества возможны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается безусловным приоритетом при распределении материальных средств».

Именно поэтому настоящий церковный документ, к сожалению, до сих пор недостаточно высоко оценённый не только на общегосударственном, но и на внутрицерковном уровне, вполне может выступить в качестве пролегоменов к православному солидаризму XXI века. Кстати, само его название («Основы...») говорит в пользу того, что работа в этом направлении должна продолжаться (и насколько мне известно, она неспешно ведётся в рамках деятельности Всемирного русского народного собора и, более того, поддерживается на региональном уровне в Белгородской области, где местное светское руководство сегодня выстраивает едва ли не идеально-симфонические отношения со священноначалием Русской Православной Церкви).

Ну и наконец, хотелось бы сказать несколько слов о том, каким могло бы быть содержание этого нового солидаризма. В первую очередь, его основные положения упираются в то, каким должен быть идеал социального государства (а тот факт, что Россия должна быть таковым, уже почти 20 лет как зафиксирован в нашем, хотя и не идеальном, но все-таки

действующем Основном законе). Прежде всего, на мой взгляд, здесь крайне необходимо избежать нескольких экстремумов:

— крайнего этатизма, когда государственно-бюрократический аппарат становится самоценностью и диктует свою волю обществу;

— крайнего экономического либерализма, когда всё регулируется якобы «невидимой рукой рынка», а на деле — буржуазией, зачастую вовсе лишённой этических идеалов;

— крайнего национализма, который в российских условиях неизбежно является разрушительным по отношению к нашему государству-цивилизации.

Взамен же этих крайностей новый солидаризм мог бы предложить следующие принципы:

— субсидиарность, при которой децентрализация государственных функций отнюдь не влечёт за собой умаление роли государства в политике и экономике, но исключительно приближает власть к обществу (на уровне того же широкого местного самоуправления, поощряющего периферийную инициативу, но исключая возможность излишней региональной автономизации);

— социальная справедливость, ключевым регулятором которой должно выступать само государство, но не столько путём административного распределения, сколько мерами поощрения мелкого и среднего бизнеса при жёстком контроле над крупными предпринимателями и чиновниками (в том числе в части возможности вывоза капитала за рубеж, сомнитель-

ного в плане законности приобретения предметов роскоши, недвижимости за границей и т. д.);

— имперская идея как основа существования российского государства-цивилизации, заключающаяся в сбережении «цветущей сложности» как малых народов и культур нашей страны, так и традиционной культуры государствообразующего русского народа (по отношению к которому, в первую очередь в сегодняшних условиях необходимо обратить соженицынский принцип «народосбережения»).

Разумеется, каждый из этих постулатов должен чётко базироваться на православной христианской этике. В противном же случае всё вышеперечисленное останется лишь одной из многих бумажно-утопических идей. Ну а для того, чтобы эти принципы оказались применимы к сфере реальной политики, практической жизни нашего общества, прежде всего необходимо на их основе сформировать подробную программу долгосрочного национально-государственного развития. Но это уже немного другая история.

Михаил Тюренков

Традиция, модерн и сверхмодерн

Жёсткое разделение и противопоставление мира Традиции и Модерна, то есть, казалось бы, мира разума, вообще изначально неверно. И следование традиции, и следование рациональному — лишь два этапа развития цивилизации и познания мира. Есть три причины ошибочности этого противопоставления.

Во-первых, мир традиции сам был не первичен — ему предшествовал мир своего рода накопления и формирования знаний и традиций. Мир, условно говоря, рассудочности, готовый к познанию, ещё не оперировавший категориями абстрактного и универсального, не несший в себе представления о единстве мира и его законов.

В Римской империи он приходит к некому чувствованию такого единства, но ему ещё не хватает знаний, чтобы объяснить это единство рационально. Побеждает монотеизм, выведший принцип единства мира — на уровне принятия традиции такого единства — из имевшегося опыта — представлений как о внешнем мире, так и о морали и ценностях, то есть мире внутреннем. Таким образом, сама традиция всегда строилась на принятии опыта рационального и не всегда — на рациональном его толковании.

Во-вторых, переход к миру рациональности не был оторван от традиции — он на ней основывался. Гуманизм Просвещения и Возрождения был бы не-

возможен без гуманизма Античности, гуманизма христианской (да и мусульманской тоже) эпохи.

Традиция развивается. Накоплены научные знания и научный аппарат, позволяющий рационально объяснить единство мира. Вера в разум, человеческую способность познания мира и самого человека становится традицией. Значит, рациональность может утвердиться лишь потому, что её почитание и признание само становится традицией.

Когда формировалась идеология либерализма, в её основе лежали именно ценности. Вообще, любая идеология при всём рационализме её отношения к миру основывается на аксиологии, на ценностях. А ценности всегда есть продукт развития традиции. И это были свобода, разум и собственность: человек рождён свободным, и от рождения он обладает достаточной разумностью, чтобы распорядиться и своей свободой, и своей собственностью. Причём полагалось, что если человек будет лишен собственности — он на деле окажется несвободен, потому что попадёт в зависимость от тех, кто этой собственностью будет обладать.

Чтимые сегодня традиции Возрождения и Просвещения — это тоже традиции, равно как и традиции той или иной мировой религии. Так, Аристотеля почитали и древние греки, и считавшие его «божественным» христиане. И мусульмане. И просветители. И К. Маркс с В. Лениным.

В-третьих, тот мир, который мы считаем миром Традиции, то есть существовавший до эпохи Модерна, пришел к кризису и уступил место Новому вре-

мени потому, что почитание традиции, выросшей из прежнего познания, стало отставать от развития познания, накапливаемого в её же рамках. Оторвалось от рациональной основы, стало её сковывать. Вступило с ней в борьбу и проиграло.

Но точно так же мир Модерна, попытавшись уйти от тех ценностей, на которых он основывался, провозгласив аксиологический релятивизм и тезис о том, что нет универсальной истины, а у каждого своя истина, начал умирать, остывать. Рациональность без ценностей убивала в человеке человеческое. А человеческое в нём — это именно обладание ценностями, чем-то большим, нежели его сугубо физиологическое существование.

Всё в Модерне превращалось в его противоположность. Признание человека высшей ценностью становилось признанием его права остаться животным. Признание права на свободное поведение разумного человека — правом на свободу от разума. Признание права на свободу совести — правом на свободу от совести. Свобода собраний — свободой шабашей. Свобода слова — свободой клеветы. Право на собственное мнение — правом не считаться с чужим. Признание прав меньшинств — правом меньшинств на диктат по отношению к большинству.

Наступал Постмодерн, с его моральным и ценностным релятивизмом и провозглашением множественности истин.

Остывание и вырождение Модерна, который, отрекшись от собственных основ, стал превращаться в

своеобразное неоязычество, началось ещё сто лет назад. Общество той же Европы ощущало, что рациональность без ценностей ему не нужна — так же, как не нужны иррациональные ценности.

И первым мятежом против ухода ценностей стал фашизм — контрмодерн, который призвал вернуться к миру ценностей, варварства, примордиальности. Контрмодерн говорил, что человеку есть за что умирать — остывающий Модерн утверждал, что жизнь превыше всего и умирать не за что. И когда они пришли в лобовое столкновение, оказалось, что тот, кому есть за что идти на смерть, всегда сильнее того, кто хочет жить во что бы то ни стало. Оказалось, что остывающий Модерн, рациональность без ценностей, не может вообще ничего.

И он бы не пережил этого нашествия. Его тогда спасло существование триумфально развившегося в России / СССР мира Сверхмодерна.

Те, кто говорят, что Россия существовала вне воздействия эпох Возрождения и Просвещения, ничего не понимают в русской истории. Да, их воздействие сказалось на России позже. Но и от М. В. Ломоносова и от А. С. Пушкина — весь XIX век — Россия жила идеями Возрождения и Просвещения. Можно, конечно, говорить, что русские крестьяне XIX века не читали Вольтера, — но его не читали и французские крестьяне XVIII столетия.

Модернизация России (в конструктивном смысле слова, а не в смысле «вестернизации») имела ту уникальную особенность, что при утверждении рацио-

нальности не были разрушены ценностно-сакральные ядра. То есть сохранялось единство традиционного и рационального. Именно в этом была суть Советского проекта: равновесие сакральности и рациональности. Поэтому вначале войны французы сдали Париж, а голландцы — Амстердам. Советские люди не сдали ни Ленинград, ни Москву и насмерть стояли в Сталинграде. Кто во Франции встал во главе Сопротивления? Консерватор и националист де Голль и компартия Франции — носители Традиции и Сверхмодерна.

Говорить сегодня, что Россия — «недомодернизированная страна», и звать к избавлению от традиционного — значит призывать не к её модернизации в классическом смысле слова, то есть не к рациональности XVIII века, а к постмодернизации, основанной на вырождении сначала традиции рационального, а затем и всего человеческого.

Точно так же методологически неверно началом успеха и конструктивной модернизации (даже если говорить только о старом Модерне, а не Сверхмодерне) считать правовое государство и первенство законов. Неверно по ряду причин.

Во-первых, закон признаётся и работает только тогда, когда он сам становится частью традиции. А значит — подтверждает себя рациональностью и признанием его моральной обоснованности. Право потому и является правом, что предполагает санкцию за несоблюдение. Но санкция в полной мере работает лишь тогда, когда за законом признан некий моральный авторитет. Если в основе закона не будет лежать

традиция, мораль и, соответственно, некая доля справедливости — никакие санкции не обеспечат его соблюдения. Наполеону удалось утвердить свой великий кодекс лишь потому, что, диктуя его и жестоко принуждая к его соблюдению, он опирался на моральные интенции Великой Французской революции.

С законами в России часто были проблемы, и афоризм о том, что их строгость уравнивается необязательностью их соблюдения, родился именно потому, что власть, провозглашая законы, слишком часто игнорировала то, чем жил народ. Если считать, что народ жил традицией и сакральностью, а власть — рациональностью, то тут ещё нужно поспорить о том, кто чем должен поступиться. Но то же рациональное сознание подталкивает к выводу о том, что если кажущиеся рациональными законы будут противоречить живущим в народе традиционным основаниям — традиции сметут либо обесмыслят любые благие пожелания власти. А власть, которая принимает законы, отвергнутые обществом, вряд ли можно считать носителем рациональности и современности. Вообще, говоря о ценностях Модерна, необходимо отметить, что он рассматривает народ в качестве единственного суверена. И власть имеет право принимать только те законы, которые готов воспринять народ.

Кстати, сам принцип правового государства («суверенитет права», власть, ограниченная законом) можно рассматривать в двух сопоставлениях. В сопоставлении с суверенитетом власти, то есть её произволом, — он прогрессивен. В сопоставлении с «сувере-

нитетом народа», то есть приоритетности его воли, — он реакционер.

Во-вторых, утверждение о значимости правового государства как ведущего начала Модерна ошибочно потому, что именно с точки зрения современных западных теорий правовое государство — это важный и значимый, но далеко не верховенствующий политико-институциональный вывод. Это так называемый «третий уровень государственности» — из пяти. Выше него — «социальное государство», ещё выше — «экологическое государство», хотя считается, что его формирование и на Западе не завершено.

Любой политик на Западе, который сегодня провозгласит, что закон выше справедливости, будет освистан даже этим постмодернистским обществом.

Да, критическое осознание тех или иных традиций естественно, необходимо и важно. Но, во-первых, критическое, а не нигилистическое. Во-вторых, не допускающее насмешки над теми, кому дорога традиция, пусть и устаревшая. В-третьих, отвергая одни традиции, нужно создавать другие. И находить в прошлом те традиции, на которые можно опереться и которые так или иначе чтит народ. В-четвёртых, сама по себе рациональность выступать движущим мотивом действия вообще не может. Человек никогда не будет следовать логическим доводам, если не признает разум и логику ценностью.

Для следования рациональному пути нужно, чтобы рациональность уже стала частью эмоционального.

Проблема России сегодня не в том, что она «недодернизирована», а в том, что её насильственно уже четверть века пытаются повернуть от развития в форматах Сверхмодерна — соединения рационального и традиционно-ценностного — к Постмодерну. К доминированию ущемленной и выхолощенной рациональности, разорвавшей с традицией и ценностями, находящейся сегодня на своей же родине — в Европе и США — в абсолютном моральном кризисе, который был признан и А. Меркель, и Д. Кэмероном, и Н. Саркози и из которого они сами не знают, как выбраться.

Кстати, творец концепции информационного общества Элвин Тоффлер, говорил, что именно в этом мире в результате поворота от унификации к персонализации будет повышаться роль традиционно-ценностных оснований.

Анализируя степень справедливости тезиса о том, что рациональный тип поведения и сознания напрямую зависит от способности человека жить в политической и духовной свободе, нужно отметить, что он не будет иметь смысла, если не уточнить, что само понятие свободы очень разнится для дикаря и для цивилизованного человека. Для первого — это свобода от запретов. Для второго — свобода в запретах и в добровольном их принятии. Свобода для одного — сжечь Рим. Для другого — построить Собор Святого Павла.

Для человека классического Модерна интеллектуальная свобода может заключаться в способности читать и осмысливать Вольтера. Для человека Постмодерна — в праве бросить его в костёр со словами:

«На свалку, рухлядь!» Для человека Сверхмодерна — в способности и потребности его переиздать и перечитать со словами: «Коммунистом можно стать, лишь усвоив знания, накопленные человечеством».

Свобода вообще имеет ценность лишь тогда, когда она базируется на принятии традиционных ценностей, в том числе гуманизма и разума. Потому что без этого она окажется свободой разрушения. Свободой надругательства над святынями. Свободой унижения того, кто сохранил верность цивилизационной традиции.

И неверно говорить, что гражданское общество, о котором сейчас много говорят и пишут, не стало ещё в России повседневной реальностью, не втянуло в себя массу населения. Точнее, говорить так — значит просто быть не знакомым с научным пониманием категории «гражданское общество». Потому что гражданское общество — это не какие-то особые люди, предъявляющие свои требования к государству и для этого созревшие. Гражданское общество — это совокупность отношений в обществе, опосредованная государством. Это не те, кто себя чему-то противопоставляет и обращается к языку права. Это все, кто в обществе живёт не только в отношениях с государством и обращается в первую очередь к языку справедливости. Потому что язык права — это язык в той или иной степени формальной условности, а язык справедливости (которая, конечно, разными классами понимается по-разному) — язык существа. Гражданское общество — мир частных и корпоративных интересов, в то время как государство — скорее,

мир интересов общих, хотя здесь и присутствуют свои спорные моменты.

Именно подданный говорит о своих правах, дарованных ему на том или ином основании. Гражданин будет говорить в первую очередь о справедливости. Права ценны тогда, когда они вытекают из справедливости, и вызывают безразличие, когда не имеют к ней отношения.

Не очень грамотно говорить, что «модернизация» (даже в её первоначальном значении) не совместима с жизнью по обычаям старины. Так, англичане, совершая свою модернизационную революцию, говорили о заветах раннего христианства, об обычаях «Старой Доброй Англии», о нормах Великой Хартии вольностей, принятой в 1210 году. Французы, совершая свою, апеллировали к тому, что они «потомки вольных франков», и к интеллектуальному наследию Античности. Американцы, восставая против английского короля, также опирались на нормы 1215 года, а составляя свою вот уже 200 лет действующую Конституцию, — на Мейфлауэрское соглашение, составленное и подписанное за 150 лет до этого.

Отрицание Традиции во имя Модерна порождает не интеллектуально свободных людей, а безграмотных манкуртов. И Модерн, отбрасывающий связь с породившей его Традицией, вырождается в декаданс Постмодерна и либо разлагается и сгнивает, либо падает под ударами Контрмодерна, если ему на помощь не приходит развивающийся по соседству Сверхмодерн.

Сергей Черняховский

Логика и смысл современного либерализма

Совместимы ли православие и либерализм? Напомним прописную истину: либерализм ставит в центр мира человека, тогда как для православных в центре всегда Бог. Любовь к человеку с православной точки зрения означает не снисхождение к его слабостям и грехам, а активную помощь в их преодолении — чтобы это не мешало предстать перед Господом добрым чадом. Вот в чём различие двух мировоззрений. Но различия между ними этим, конечно, не исчерпываются.

Либерализм вчера и сегодня

Сказанного было бы достаточно, если бы мы жили в XVIII веке и читали отца-основателя либеральной идеи Джона Локка с его учением о «естественных правах» (прототип сегодняшних прав человека). Мы также проявили бы неподдельный интерес к сочинению Роберта Мальтуса «Опыт о законе народонаселения», в котором тот рассуждал незатейливым образом: чтобы спасти планету от перенаселения, необходима «естественная убыль» человеческой массы, которая должна происходить в результате эпидемий, войн и конкурентной борьбы за ресурсы.

Концепции тотальной конкуренции породили в XX веке широкий спектр теорий, названных социал-дарвинистскими. Стоит особо отметить, что сам Чарльз Дарвин тут особенно ни при чём, поскольку он при-

менял своё учение только к животному миру. Все эти теории имели общее для либералов всех времён положение: сильнейшие должны выживать за счёт слабейших.

Идея выражалась в разных формах, причудливо видоизменялась. В конце концов, количество отличий перешло в качество. И принцип выживания сильнейшего вышел за рамки первоначального консенсуса, за границы прежней системы. На свет появлялись другие, более жёсткие доктрины, от которых традиционные либералы отрекаться, как от внебрачных детей. А именно: нацистская версия общества («фелькиш-государство» Германии 1930-х годов) и большевизм, сложившийся в основных чертах в 1920-е годы.

И в том и в другом случае речь вновь шла о выживании одних за счёт других. Но уже не на уровне индивидуумов, а на уровне классов, наций, народов, сословий, социальных групп.

Не сосчитать, сколько типографской краски было потрачено на то, чтобы отмежевать «доброкачественный» либерализм от его злокачественных последствий. Напрасный труд. Ведь у любого нормального человека возникает вопрос: почему «свободная конкуренция» (то есть борьба за выживание) допустима внутри либерального консенсуса, но такая же свободная конкуренция между нациями, классами или социальными системами дурна и непозволительна? В чём принципиальная разница? Конечно, дискуссии по этому поводу разгорались часто. При этом указания либералов на «допустимые» и «недопустимые» методы

«войны всех против всех» мало что объясняли. Когда и кого в классических войнах, внутренних и внешних, останавливали эти условности? Генриха VIII с его политикой «огораживаний»? Британские гильдии, подсадившие на опиум добрую четверть населения Китая? Или англичан, построивших в ходе англо-бурской войны первые в истории концлагеря?

Рассуждения о том, что, мол, одно дело — война, а другое — политика, разумеется, наивны. В свое время Клаузевиц справедливо заметил: «Война есть продолжение политики другими средствами». В XX веке левый философ Мишель Фуко, посвятивший немало работ анализу либеральных систем власти, поставил этот тезис с головы на ноги: «Политика есть продолжение войны другими средствами». И эта точка зрения подтверждалась реальностью. Сквозь дым батальей холодной войны уже просматривалась новая политическая конструкция. Неолиберальный проект глобального мира шёл на смену коминтерновскому, которому оставалось жить два с половиной десятилетия. Новая тотальная «война всех против всех» вместо уже привычного противостояния двух систем маячила на горизонте.

Наконец она разразилась. Человечество узнало об этом на исходе XX века, когда общественная идеология начала стремительно меняться. Это было время глубокой мимикрии старого либерализма. Пресловутые *liberal values* их адепты стали теперь определять по-новому: не на общих социально-философских основаниях, а по линии отличий от советской комму-

нистической доктрины. Фактически происходила подмена тезиса, хотя социологи и политологи предпочитали об этом не говорить. Например, подчёркивалось более почтительное отношение либерального общества к политическим правам и свободам, чем то, которое имело место в бывшем Советском Союзе. Это было правдой. Однако многие прогрессивные публицисты обходили вниманием зеркальную ситуацию с социальными правами. Так называемый авторитаризм в условиях либерального общества проявляется не на уровне госаппарата, но переносится внутрь каждой отдельной корпорации, фактически устроенной по принципу тоталитарной секты. Об этом несколько лет назад прекрасно сказал художник, публицист и философ Максим Кантор: «Создать демократическую страну значило создать независимые корпорации, а их принцип работы отнюдь не демократичен. Называя вещи своими именами, — корпорация есть тоталитарное государство, функционирующее внутри так называемого демократического государства и обеспечивающее его жизнеспособность... Известная игрушка матрёшка является примером открытой или закрытой структуры? Матрёшка постоянно открывается, но открывается лишь затем, чтобы предъявить очередную закрытую матрёшку. В вечной способности открываться, и открываться напрасно, в вечном сочетании открытости и закрытости и есть смысл данной модели» (Кантор М. Матрёшка как образ истории. Тоталитарная суть открытого общества // www.rulife.ru/mode/article/1146).

На самом деле в основе полемики либералов и советских социалистов лежала элементарная, но тщательно скрываемая обеими сторонами диалектика целого и части. После развала советской империи эта манипуляция была удачно приспособлена политологами либерального лагеря для решения новых задач. Её положили в основу теории тоталитаризма и доктрины «конца истории», разработанной Френсисом Фукуямой.

На том же основании была выдвинута теория модернизации, или «догоняющего развития» стран бывшего восточного блока. Их обязывали поступить в своего рода коррекционный класс, а на деле влиться в глобальную политику и экономику на правах доноров (в частности, новых рынков сбыта). «Забыв» сказать, что при таких правилах игры экономические диспропорции не только не исчезнут, но будут увеличиваться. На самом деле теория модернизации была ничем иным, как новой версией колониализма. Раньше она применялась к отдалённым странам-колониям вроде Индии или Алжира, оправдывая западный протекторат. Затем прежний концептуальный каркас был брошен на новые реалии. После небольшого апгрейда, замены старых коммунистических догм на новые — неолиберальные, её должны были испытать на себе свежее испечённые пасынки глобального общества, в том числе и Россия (у нас модернизация была горячо поддержана истеблишментом после 2008 года).

Любопытно, однако, что европейские левые интеллектуалы (Фуко, Ги Дебор, Жан Бодрийяр и др.) ещё в 1960-е годы прекрасно понимали прикладной и ма-

нипулятивный характер западного «политического суперэго» — так, используя фрейдомарксистский жаргон, они в то время обозначали неолиберальный тренд.

Но что знали в Европе, того не знали в России. Лишь в последнее десятилетие в российской прессе всё чаще можно было встретить последовательную критику неолиберального катехизиса (см., напр.: Кагарлицкий Б. Ю. Счет на миллионы. Хороший фашизм и фашизм плохой / Русская жизнь. 2009. № 11-12; Бузгалин А. В. Социальное освобождение и его друзья («Анти-Поппер») / Экономико-философские тетради. 2003. Вып. 1).

Разделённое общество и его творцы

Даже пытливому уму иногда хочется простых определений. Применительно к либерализму можно взять за основу следующую элементарную дефиницию: либерализм в современной версии есть идеология крупного капитала. Что это значит? Если отжать сопутствующую либеральному направлению мысли правозащитную риторику, то реальный, утилитарный смысл либерализма будет заключаться в решении одной задачи: ограничить любую власть, кроме денежной. «Купить можно всё». Неважно, что орудия присвоения легко производит печатный станок (эмиссионный фактор). При этом другие формы власти и присвоения заранее табуируются как идеологически неприемлемые. Разумеется, при таких правилах игры любая политика легко корректируется с помощью

экономики. Например, нужный результат на выборах обеспечивается с помощью финансового ценза, ограничивающего нежелательным игрокам доступ к предвыборной пропагандистской машине. Даже при относительной «прозрачности» процедуры голосования таким образом можно добиться необходимого результата.

Неизбежен вопрос: а как же, например, защита прав меньшинств и прочие гуманитарные аспекты либерализма? Действительно, они в либеральном обществе крайне популярны, но на самом деле играют прикладную роль. Борьба за права меньшинств реально необходима правящему классу для того, чтобы ограничить права большинства. Или чтобы расколоть это большинство. В сущности, мы здесь имеем дело с принципом «разделяй и властвуй», старым, как сама власть. Только теперь он применяется по-новому. Различия между «меньшинствами» не просто используются — они целенаправленно культивируются. Обществу навязывается культура «инаковости», «культура Другого», требующая ответной реакции в виде «толерантности». Но проблема в том, что этот новый Другой не рождается сам по себе, а создаётся искусственно, сперва как понятие, а уж затем как явление (в естественных условиях должно быть прямо наоборот).

Например, защита прав геев не останавливается на защите частной жизни, но переходит в требование легализации однополых браков и присвоение им статуса «семьи», а затем дело доходит до изменения критериев традиционной семьи — с биологических на

гендерные. Это уже, мягко говоря, другой разговор. О правах большинства никто при этом не вспоминает. При ближайшем рассмотрении, скорее всего, окажется, что обычным геем, простым смертным, вся эта эпопея с семьёй совершенно не нужна. Горизонт их ожиданий — это отсутствие юридических запретов на свободный выбор совершеннолетнего сексуального объекта. Но эта эпопея очень нужна правящим элитам.

Другой пример: создание мусульманского анклава в самом центре Европы, признание автономии, а затем и аннексия исторической территории у Сербии.

Собственно на этом принципе основан весь социально-политический инжиниринг информационного общества: реальность подбирается и выстраивается под идеи и словесные конструкции. Из средства описания и коммуникации язык превращается в инструмент создания реальности. Качество и будущее такой реальности вызывают много вопросов.

Теоретически в либеральном обществе существует бесконечное множество потенциальных меньшинств и бесконечное разнообразие точек зрения («плюрализм»), а также форм потребления.

На практике же соблюдаются рамки идейного консенсуса, который может называться как угодно: политкорректностью, позитивной дискриминацией (*positive discrimination*), социальным контролем (*social control*). В рамках консенсуса и смелых журналистских расследований может даже обсуждаться диктат транснациональных корпораций и мировых

брендов и неблагоприятная роль финансового капитала. Вот только эта роль и этот диктат никогда не будут поколеблены — в данном случае слова не создают, а «заговаривают» реальность. Правда, заговорить её до конца удаётся далеко не всегда. Среди квазименьшинств то и дело вспыхивают конфликты: вспомним Брейвика, бунт арабских кварталов и судьбу «мультикультурализма».

Искусственное выращивание «значимого Другого», предписанное неолиберальным катехизисом, на самом деле ведёт к фатальному разобщению в обществе, но в то же время увеличивает возможности контроля за обществом методом управляемого хаоса. Такой разделённый внутри себя либеральный социум не способен ни к противостоянию власти, ни, следовательно, к реальной демократии. Даже минимальный уровень политической солидарности в этих условиях просто недостижим. Подлинная солидарность есть условие продуктивной (не медийно выигрышной, а именно продуктивной) борьбы граждан за свои права — но именно солидарность успешно устраняется.

Либеральный «разделённый социум» представляет собой удобный объект для манипуляций со стороны денежных элит. И уже на первом этапе подобной манипуляции такая демократическая ценность, как воля большинства, успешно подменяется либеральными принципами, согласно которым «ничто не запрещено» и всякое мнение священно.

Вот об этой подмене следует сказать отдельно. Понятия «демократия» и «либерализм» часто употре-

бляются как синонимы (отсюда термин «либеральная демократия»). Но это чисто языковой трюк. На самом деле они не тождественны, они — антиподы. Если отвлечься от теоретических построений философов и политологов и немного понаблюдать за жизнью реального социума, то выясняется, что в реальном социуме между демократией и либерализмом лежит пропасть. Это было хорошо видно хотя бы на примере скандала с минаретами в Швейцарии — стране с остатками реальной демократии, которую хозяева либерального дискурса тут же обозвали «архаичной» и «неразвитой». Вместо того чтобы решать проблему, её в очередной раз загнали под ковёр. Тем не менее противоречие вышло на поверхность на чисто языковом уровне. Но в официальной экспертной среде не принято распространяться о такого рода политических аномалиях. А когда термины-оксюмороны — такие, как «либеральная демократия», «леволиберальный» — слегка царапают сознание критически мыслящего обывателя, его убаюкивают лекциями о «двух демократиях», архаичной и современной. Впрочем, иногда вместо умножения политических сущностей применяется противоположный метод — редукция одной из них. Например, как точно подметил Борис Кагарлицкий, когда нас убеждают в том, что «при отсутствии частной собственности ГУЛАГ получается обязательно, а в условиях буржуазного экономического порядка Бухенвальд и Освенцим получились совершенно случайно, как исключение» (Кагарлицкий Б. Счет на миллионы. Хороший фашизм и фашизм плохой // Русская жизнь. 2009. № 11-12.).

Вот так выглядит кропотливая пропагандистская работа, которую выполняют сегодня либеральные миссионеры. И пока, надо сказать, выполняют довольно успешно. Поскольку дискретная, постмодернистская модель социума («разделённое общество») сегодня доминирует. Либерализм служит обоснованием модели, а её отстройка достигается, как уже было сказано, методом управляемого хаоса — столкновением разобщённых социальных групп и — вторым шагом — наведением порядка. В предельных случаях могут применяться силовые методы контроля: «гуманитарные бомбардировки», «борьба с терроризмом» и иные «миссии».

Цель при этом одна: тотальный контроль за ресурсами и концентрация власти. Власти, которая в условиях рыночного общества, то есть диктата финансовых групп, не может быть ничем иным, как концентрацией капитала. Монетаризм чурается этого марксистского понятия, но по существу говорит о том же.

*Улица с двусторонним движением:
капитал в обмен на идеологию*

Важно понимать, что по отношению к капиталу разные общества и страны находятся в заведомо неодинаковом положении. Отличие заключается в том, что происходит постоянный вывоз капитала из стран третьего мира (включая Россию) в страны центра (США, Англия, отчасти континентальная Европа). На этот нескончаемый отток работает, во-первых,

система международного разделения труда: товар дешёво производят на периферии, а продают на дорогих рынках Запада; во-вторых, мировая банковская система: любые стабфонды и валютные резервы инвестируют в экономику тех стран, в чьих банках они лежат, а не тех, чьи правительства их там держат (ситуация с личными активами аналогична). В-третьих, это привилегированная роль эмиссионного центра США, чей госдолг, как известно, безграничен. Особую роль выполняет ВТО и аналогичные ей институты, связывающие клиентов долговыми обязательствами и влияющие на их экономическую политику. Это четвёртый инструмент глобальной «мирэкономки». И, наконец, пятый — чисто силовой. Если речь идёт о такой важной материи как, например, энергоресурсы, в дело вступают бомбардировщики и подразделения коммандос.

В этом механизме нет ничего загадочного. Он у всех перед глазами, а его анализ и критика — это азбука левой политической мысли. Упомянули мы о ней лишь затем, чтобы плавно перейти к главному вопросу: как обслуживает эту машину либеральная политическая философия, каким образом она заставляет вертеться её шестерёнки?

Обратимся к священным скрижалям. Философ Карл Поппер, посвятивший апологетике либерализма немало страниц своего труда «Открытое общество и его враги», был бы, разумеется, куда точнее и честнее, если бы назвал своё «открытое общество» разделённым обществом. Учитывая хотя бы то, что

плюрализм, взятый в пределе или создаваемый искусственно, ведёт не к цветущей сложности, а либо к архаичной «войне всех против всех» (в исконном значении Томаса Гоббса), либо к изощёрённой диктатуре, «новому Левиафану».

И всё-таки в термине «открытое общество», безусловно, есть глубокий резон, если только переосмыслить вектор его мобильности. Речь должна идти не о его иллюзорной внутренней свободе (здесь мы имеем диффузность власти вместо привычной для советского человека конвергенции, но и только), а о принципе добровольно-принудительного обмена.

В чём его особенность? И в какую же всё-таки сторону открыто «открытое» общество?

Дело в том, что экономическая и политическая система эпохи неолиберализма — это улица с двусторонним движением, причем в каждую из сторон направлен свой трафик. Если речь идёт о вывозе капитала, то движение идёт от периферии к центру (скажем, из России в США). И никак не наоборот. Если о вывозе идеологии, то наоборот — из центра к периферии, в направлении остального мира. Нефтяные капиталы лежат в банках США и Британии, а положения чикагской школы экономики, европейской толерантности, условия вступления в ВТО учат в российских (украинских, филиппинских, бразильских) вузах. Не наоборот. Таково основное правило системы: капитал в обмен на идеологию. Здесь в расширительном смысле применим термин «неэквивалентный обмен».

Как бы ни напоминала эта система практику колониальных времен, она существует, и на данный момент всё ещё относительно стабильна.

Идейным гарантом этой стабильности как раз и выступает либерализм. Поэтому он (как и вся система в целом), безусловно, приятен выгодополучателям этого обмена — странам центра и транснациональным элитам — и совсем не полезен невольным донорам — странам периферии. Именно этот свод идей, а не «изъяны демократии», консервирует страны периферийной зоны в их культурной, научной и технической отсталости. Разумеется, центральным игрокам необходимо сохранить ситуацию как она есть, а донорам, по возможности, сломать её.

Из этого положения следует важный вывод: либерализм в центре и на периферии мировой экономики будет работать и даже выглядеть по-разному. Возникнут как сущностные, так и стилистические различия.

В первом случае он будет призывать к сохранению стабильности, к охране традиций, национальных интересов и частной собственности. Во втором случае либерализм придёт с призывом: принять правила игры Большого брата, снять таможенные и культурные барьеры. И срочно «модернизировать» общество, например, социальную политику: финансовые потоки должны идти куда надо, а не старикам и инвалидам. Или образование: уже сейчас ВТО жёстко лимитирует вложения в образовательную сферу, а вслед за этим, как мы видим, деградирует образовательный стандарт и закрываются вузы. Но это ещё далеко не

всё. Изменить призывают даже традиционную семью. Любопытно, что именно сейчас западный мир отказывается от ювенальной юстиции, а в России её усиленно проталкивают, получая на выходе живой товар и мощный инструмент контроля за населением. Отсюда же родом и «гендерная революция».

С точки зрения западного либерала, науку и производство надо расширять — это сферы для вложения своих и чужих капиталов. С точки зрения периферийного либерала, лучше всего отказаться от нормальной индустрии в пользу сырьевой экономики. У нас индустрия, как и образование, — сфера для необоснованных трат. Из-за этого финансы задерживаются на внутреннем рынке, а они должны идти на рынки внешние — таковы жёсткие требования «открытой» экономики. И вот в России закрывают «лишние» вузы, и объясняют, что людей с высшим образованием должно быть поменьше. Непрофильный актив!

Как остановить механизм ограбления экономических колоний?

Рецепт один: делать всё наоборот. Накапливать национальный капитал, вкладывать его на внутреннем, а не на внешнем рынке. Экспортировать собственную идеологию, навязывая свои правила игры, и не брать напрокат чужую.

В этом, если угодно, состоит утилитарный экономический смысл верности национальным идеалам. Когда честный консерватор печётся об этой верности, он интуитивно выбирает правильный ответ на вызов времени.

Оптимизация духа

Чтобы до конца понять, как либеральная экономика и идеология связаны со сферой духовного, необходимо учесть один важный момент. Дело в том, что в современном обществе либерализм вынужден обслуживать отнюдь не экономику классического капитализма. После эпохи классического капитализма произошло нечто вроде обратного отклонения маятника. Сегодняшнюю ситуацию можно определить, скорее, как денежный феодализм информационного общества.

Такое общество даёт более сильные рычаги для контроля за населением, нежели во времена Адама Смита, Вудро Вильсона или Пиночета. И, между прочим, в значительной степени отрицает те принципы свободы торговли, которые либерализм старой школы провозгласил два века назад.

Любопытно, что российские либералы, когда с ними говоришь, всё ещё отстаивают ценности либерализма классического, либерализма XIX века. А сегодняшние социальные диспропорции и тоталитарные тенденции, которые порождает диктатура финансового капитала, списывают на якобы имеющий место отход от заповедей либерализма. Критикуя практику, защищают теорию. Так делали и коммунисты, когда призывали вернуться к «ленинским нормам».

Но на самом деле нынешнее состояние общества есть закономерный этап развития всё того же либера-

лизма — он мутирует именно так, потому что должен ТАК мутировать. Это заложено в его внутреннем механизме, в генетике.

Главный вопрос не в том, плох или хорош либерализм вообще (эта абстракция существует только в учебниках), а в том, каков он в условиях экономической и культурной зависимости.

Мы-то знаем, что в России попытки построить «свободное общество» по либеральным лекалам упираются в колониальную модель, порождённую тем же самым либерализмом, но в глобальном, мировом масштабе. И происходит это под аккомпанемент разговоров о «модернизации». В этом и заключается проблема, а точнее, неразрешимый тупик российской либеральной мысли.

Но и примеров того, как наши кураторы открытого общества и свободной экономики нарушают собственные правила, хватает. Взять хотя бы мировой кризис. Разве российские банки, оказавшись банкротами, уступили место под солнцем другим и ушли с рынка? Нет, они не признали поражение в конкурентной борьбе, но отправились к государству с протянутой рукой, требуя кредитов и ещё раз кредитов. То есть того самого собеса, о котором так презрительно отзываются иные банкиры, когда речь идет о пенсионерах, врачах и учителях. По итогам кризиса мы получили самый настоящий социализм. Но социализм для банкиров, а не для страны.

Недавно на одном из европейских форумов в этом откровенно сознался Герман Греф, прямо сказавший:

нельзя доверять народу политическую инициативу. Так думает не он один.

Но самое печальное заключается в том, что либерализм колониального толка претендует не только на материальное, но и на духовное. Апеллируя к «светскости», «политкорректности», он стремится ограничить стимулы общества к единству и мобилизации, которые есть залог экономической и культурной самостоятельности. Вот этого никак не могут допустить либеральные политтехнологи. Объединение общества против власти финансовых элит — кошмар для либерала. Система глобальной политики и «мирэкономки» должна работать как часы. Отсюда постоянный мониторинг, который ведут глобальные институты за любым обществом, за каждой политической нацией. И выжигание из социальной среды всего, что связано с традиционными ценностями, общинностью, некоммерческой мотивацией и глубинной пассионарностью.

Для оптимизации капитала надо оптимизировать дух. Именно этим и занимается либеральная идеология в таких странах, как Россия.

В России удар в первую очередь направлен на традиционную религию, а также на память о Великой Отечественной войне, поскольку это два мощнейших фактора национального единства. Сам накал антицерковной и антиправославной кампании в России (и не только в России, стоит проследить, что происходит с Афоном в Греции) говорят об огромной «удерживающей» роли Церкви. Смириться с этим глобальные элиты не могут. Нельзя допустить, чтобы в

«модернизируемой» стране оставались в принципе не модернизируемые институты. Именно поэтому Церкви сегодня выставляют политические ультиматумы и навязывают концепцию секулярной Реформации.

И здесь мы вновь подходим к вопросу о двух ликах либерализма, но уже в духовно-нравственном измерении. На примере Pussy Riot очень хорошо видно, насколько по-разному понимают свою задачу либералы в России и в Европе. Там, в свободном мире, есть тьма похожих прецедентов. И два-три года лишения свободы за осквернение храма — не просто допустимая, а рутинная практика европейской судебной системы. Но как только аналогичное преступление совершается в России, дело моментально объявляется политическим, и на этом основании виновных требуют освободить.

Другой пример. Из культурного лексикона среднего европейца изымается всё, что связано с византийским наследием. Здесь, похоже, имеет место безотчётный, глубинный страх. Страх расколотого «Я», распада идентичности западного общества. Невозможно даже допустить мысль о том, что критика современной европейской цивилизации может исходить не снаружи, а изнутри. То есть из самой Европы, к каковой, бесспорно, относится православная цивилизация. Отсюда штампы, определяющие византийскую и русскую линии в христианстве как восточную схизму. А как же хваленый плюрализм? А никак. Двойные стандарты? Разумеется. Но дело не в чьей-то персональной злой воле. Двойные стандарты существуют, потому

что либерализмов — два: для внутреннего и внешнего пользования.

Наш «внешний» российский либерализм, как в любой периферийной стране, обречён иметь деструктивную, антиобщественную сущность. Дело не в том, что у него здесь плохие вожди. Просто такова его системная функция в рамках глобальной политики. От этой функции он не может уклониться. Колониальное государство не в состоянии быть демократическим.

*Левый консерватизм:
выход из либерального тупика*

Одна из особенностей российской политики состоит в том, что у нас, как и во многих странах третьего мира, политические полюса норовят неожиданно сойтись.

Скажем, в Англии и США левые и консерваторы обитают на противоположных концах политического спектра, а у нас консерватор и социалист говорят хоть и на разных языках, но зачастую одно и то же, даже не осознавая этого.

Почему? Очень просто. Потому что в России большинство — неимущее, и вместе с тем оно консервативно. Меньшинство же — либерально и революционно. Такая конструкция всё время норовит перевернуться. В США, например, всё наоборот: большинство — имущее, а потому либеральное и в меру консервативное, а левые и правые крайности — удел политических маргиналов. Центр надёжно уравнивает края.

Именно поэтому в России куда более призывно, чем на Западе, звучат истины независимых левых экономистов, которые зовут к отключению стран-доноров от глобальной экономики (например, Иммануил Валлерстайн в книге «После либерализма»). Они же противопоставляют либеральной теории модернизации (согласно которой страны третьего мира якобы могут догнать страны развитые) концепции зависимого развития и периферийного капитализма (их можно найти в текстах И. Валлерстайна, С. Амина, Р. Пребиша, Г. Мюрдаля и др.).

Неолиберальная программа, осуществляемая сейчас в России, является тотальной. Она охватывает все сферы: от ЖКХ и вузов до ювенальной юстиции и церковной жизни. Её цель на данном этапе — тщательная зачистка политического ландшафта как слева, так и справа. Слева — от остатков («пережитков») социального государства. Справа — от традиционных ценностей, от имени которых, например, «дерзает» говорить Церковь. Именно поэтому у Церкви, например, нет иного пути кроме защиты обиженных и обездоленных. Это движение влево. У левых политиков тоже один путь — в сторону консервативных ценностей и традиции, то есть вправо.

В российских условиях стена между социалистической и консервативной идеями иллюзорна. Будучи выражены совершенно разной лексикой и грамматикой, эти идеи, тем не менее, дают похожие ответы на вопросы дня. А само существование границы между ними — противоестественно. Эта граница — одно из

ярких проявлений сути либерального общества как общества, разделённого внутри себя. Но есть основания думать, что разделение мы в состоянии преодолеть. Ведь левоконсервативный альянс — это Кошцеева смерть, что обитает на кончике либеральной иглы.

Союз левой и консервативной идей предопределён и неизбежен. Как скоро он состоится, неизвестно, но многое зависит от умения и желания сторон идти навстречу друг другу.

Евгений Белжеларский

Левый консерватизм

В российской политике консервативное направление — самое проблемное. В отличие от либералов и левых, русский консерватор постоянно стоит перед проблемой самоидентификации: какие ценности отстаивать, что сохранять и «консервировать»? Ведь национальная традиция, взятая почти в любой точке, выглядит как отрицание ценностей предыдущего исторического периода. Как тут говорить о сохранении? Прежде всего надо разобраться в парадоксальной ситуации, когда прерывание традиции само по себе превратилось в традицию и повторяется от эпохи к эпохе.

Революция сверху: искусственное прерывание традиции

Правящий класс не раз и не два в истории России запускал сценарий прерывания традиции. При этом историческая ситуация искусственно возвращалась на предыдущий уровень, как в подростковой компьютерной игре. Так было во время Смуты, церковной реформы (Раскола), в начале XVIII века, в 1917 году, в 1991-м.

Всякий раз мы видим ужесточение условий договора власти и общества. Каждый новый исторический отрезок — это игра на понижение.

Эта точка зрения не только славянофильская, как иногда принято считать, она также свойственна

и европейским консерваторам. О том, что в России «чуждое народу правительство», писал небезызвестный маркиз Астольф де Кюстин, посетивший Россию во времена Николая I. А знаменитый культуролог Освальд Шпенглер в своём «Закате Европы» обозначил российскую ситуацию термином «псевдоморфоза», взятым из геологического словаря (проникновение, вращение в толщу камня куса другой горной породы).

Тем не менее славянофилы имели исторический шанс стать сторонниками европейского выбора России, т. е. национального и религиозного самоопределения. Но они не были последовательны в вопросах национального политического строительства. Историкам хорошо известен такой документ, как записка славянофила К. Аксакова Александру II. «Русский народ не революционен и не претендует на участие в политике, — пишет К. Аксаков. — Поэтому событий, подобных тем, что имели место в якобинской Франции, в России ждать не стоит. Но взамен пусть власть оставит народу его право на внутреннюю жизнь, вековой уклад, традицию общины» (Аксаков К. С. Записка о внутреннем состоянии России // Теория государства у славянофилов. Сб. статей. СПб., 1898).

Попытка разделения полномочий была наивной, а золотой сон русского консерватора короток. Отказ от претензий на политическое самоопределение ничего не решал: власть и не думала соблюдать означенные границы. Ведь проект России идеологически оформлялся как просвещение сверху — в отличие от

европейского просвещения снизу. То есть как право «просвещённой» компрадорской элиты безраздельно повелевать непросвещённым народом. Причём трудности проекта списывались его активистами на самодержавные предрассудки и «косность» населения.

Эту идеологию в общих чертах унаследовали советский и постсоветский периоды. Ощущение исторического дежавю было знакомо даже простым смертным: показательна расшифровка крестьянами аббревиатуры ВКП (б) — «Второе крепостное право — большевиков». Или шутка 1990-х: «Раньше у нас было 15 олигархов, которые назывались “Политбюро”. Теперь они никак не называются».

В сущности, Россия с её бюрократией и крепостным правом была империей и колонией одновременно — отсюда тезис историка С. Соловьёва о внутренней колонизации Руси. Такая конструкция имела мало общего с западными империями, которые включали в себя мощное национальное ядро и внешних доноров.

Коротко вековую политику российского правящего класса можно определить как перманентную революцию сверху и искусственное прерывание национальной традиции. Эта идеология и метод государственного управления делали проблемным отстаивание консервативной идеи в России. Именно поэтому, будучи не в состоянии противостоять революции сверху, консерваторы на каждом историческом витке вновь и вновь оказывались в политическом офсайде.

К сожалению, постсоветский период не решил эту проблему, а лишь усложнил её. Отказавшись от со-

ветской идентичности, общество не вернулось ни к какой другой. Это соответствует вышеописанной логике пунктирного, прерывистого развития.

Пока общество не определится в отношении собственной истории, у консерватизма не будет серьёзных политических перспектив.

Что консервировать?

Несколько лет назад исследователь отечественного консерватизма Михаил Ремизов писал: «Каждый назвавшийся «консерватором» слышал этот вопрос неоднократно: что вы собираетесь «консервировать» в России — стране с неоднократно прерванной традицией? Вопрос вполне уместный. Но именно как вопрос. А не как аргумент против российского консерватизма».

Всё правильно. Но правда и то, что когда этот вопрос ставится, в консервативном лагере начинается разногласия.

Каков консервативный идеал сегодня? Чаще всего мы получаем в ответ набор вечных понятий: «семья», «религия», «нация», «былые достижения». Или совсем просто и бесхитростно: «стабильность», «патриотизм». Представления о традициях, достойных сохранения, у разных консерваторов разнятся.

Вот приблизительная типология.

1. Антикварный консерватизм. Ориентирован на тот или иной фрагмент исторической реальности. Например, монархисты с ностальгией думают о престолонаследии и невинно убиенном Николае II. Вопрос о

«качестве» монархии, о сравнении представителей династии не ставится (но есть немалая разница между Иваном III и Алексеем Михайловичем, Петром II и Петром III, Павлом I и Александром I). Иногда речь заходит о претензиях на российский престол кого-то из потомков Романовых, но с какими политическими целями — непонятно. Антикварный консерватизм имеет фрагментарный взгляд на историю. Нередко он нетерпим к консерваторам иного типа, то есть де-факто работает на разъединение, а не на интеграцию консервативных сил. Реальная политика тем временем проходит мимо.

2. Консерваторы-резонёры. Наблюдая коррупцию, расхищение национальных активов, безнравственность СМИ, они говорят: «Нам нужна консервативная политика, причем срочно. Вот вам политическая программа». Они считают, что с этой новой прекрасной программой можно победить на выборах и начать новую жизнь. На этом их реальное участие в политике заканчивается. Даже во времена ельцинской мультипартийности я не помню случая, чтобы консервативная партия или её представитель всерьёз засветились на предвыборном этапе, не говоря уже о преодолении пресловутого 5%-ного барьера.

3. «Комконсерваторы», или консерваторы советского типа. Парадокс в том, что эти консерваторы наследуют доктрине исторического нигилизма — традиции отказа от традиции. Второй парадокс: они-то, в отличие от многих, знают, что хотят реконструировать. Правда, реконструкции на поверку подлежат не

традиция, а исторически локальный проект советского социального государства. Его предполагается возродить в режиме госзаказа. Это четко поставленная, но вряд ли выполнимая задача — хотя бы потому, что российская индустрия разрушена, и воссоздавать её некому. Не гастарбайтеры же будут строить «новый СССР».

4. Евразийская доктрина, изложенная в терминах геополитики. Она включает отчётливую антизападную риторику в сочетании с мультикультурализмом, но не имеет политической программы. Скорее всего, проект «Русская Евразия» является довеском и ручным оппонентом либерального мейнстрима — так сказать, сверхсистемной оппозицией.

5. Либерал-консерваторы. Они находятся если не во власти, то при власти. Придерживаются державно-патриотической риторики, не отрицая при этом либерального курса (сырьевая экономика, сворачивание социальных программ, вывоз капитала из страны и зависимость от мировых финансовых центров). Консервативная фразеология здесь прикрывает либеральный курс, вызывая у обывателя иллюзию того, что правящий класс всё же намерен сохранить некие ценности и национальные приоритеты. Что в данном случае консервируется — очевидно. Консервируется российский либерализм. Не как идеология, но как экономический базис и модель развития.

6. Симулятивный консерватизм. Карнавальные консерваторы-националисты, охранители, приверженцы вольных и невольных политических перформансов

создают политические симулякры — карикатуру на нормальный консерватизм. Возможно, их функция состоит в маргинализации нежелательных для власти политических направлений: реального консерватизма и низового национализма. Примерно таким же образом Иван Охлобыстин в своей «Доктрине» маргинализировал имперскую идею, а теперь вышучивает православие, рассказывая всему миру о своём целибате. Такая же «сверхсистемная» оппозиция, как евразийцы, с которыми национал-консерваторы находятся в предсказуемом противостоянии (факт прямой политической конкуренции).

7. Консерваторы-интеллектуалы, которые погружены в теорию консерватизма, но далеки от политической практики.

8. Церковные и околоцерковные консерваторы. Их позиция: Церковь ответственна за сохранение национальной традиции вообще, а не только внутрицерковной. А православие является не только основной конфессией, но и базой русской социально-этической традиции, подобно протестантской этике в Европе и США. Однако возможности церковного консерватизма ограничены, поскольку РПЦ по закону отделена от государства и не имеет права создавать политические организации, а священники не могут избираться на государственные должности. Иного понимания светскости, аналогичного хотя бы американскому, в России пока не выработано.

В этой типологии легко заметить неприятную закономерность. Каждая из перечисленных групп либо

отделена от реальной политики, либо скрывает под вывеской консерватизма иное политическое содержание.

Второй случай особенно нагляден на примере либерал-консерваторов, де-факто — «консерваторов» при либералах. Кавычки не случайны. В принципе либерал-консерватизм для России — нонсенс. Именно для России. В США, например, это основная форма неоконсерватизма на сегодняшний день.

Чтобы понять, почему это так, требуется небольшое экономическое отступление.

Двойная парадигма мировой политики

В мировой экономике действует правило центра и периферии. Капиталы перетекают от периферии к центру (из стран третьего мира в страны первого), и любая власть выполняет функции диспетчера этого движения.

В этих условиях западные либералы, отстаивая status quo, объективно укрепляют экономику своих стран как принимающих субъектов.

Россия принадлежит к мировой периферии. Либеральные принципы в России также работают на сохранение этой модели, но для России она означает не присвоение, а отдачу — вывоз сырья и капиталов, утрату внутреннего рынка, захваченного импортом. Всё это подрывает материальное состояние страны.

Следовательно, западный либерал — например, американский — по своей функции консерватор: он

стабилизирует систему. А либерал российский, занимая место на другом полюсе системы «ввоз — вывоз» и исповедуя те же взгляды, напротив, социально деструктивен. Он делает то же, что и коммунист — экспроприирует (вот случай, когда применима шуточная народная формула «Чубайс — это Троцкий сегодня»).

И наоборот: левая идея в контексте Запада революционно-деструктивна. А в России, как и в любой стране третьего мира, левая (солидаристская, умеренно социалистическая) идея — консервативна, поскольку революционером является сама власть.

По той же причине русским аналогом европейского консерватора окажется не западник, а вменяемый почвенник. А аналогом западного конструктивного либерала — социалист.

Этот политический перевертыш называют зеркальным эффектом глобальной системы, или законом «двойной» парадигмы. Так функционирует система «центр — периферия».

Учитывая эту особенность современного мира, необходимо проверить целый ряд положений, которые до эпохи денежного феодализма, или «глобального капитализма», как говорят в левых кругах, считались незыблемыми.

В рамках нашей темы необходимо поставить вопрос о том, какая позиция на российском политическом поле является объективно консервативной, а какие политики, пусть даже присягнувшие консервативным символам прошлого, претендовать на звание консерваторов не могут.

К сожалению, эта тема пока не обсуждается в российском публичном пространстве. Вопрос о реальном, объективном отношении тех или иных российских политиков к консерватизму — не *in vitro*, а в рамках мирового контекста — пока не стоит. Более того, поднимать вопрос о соотношении консерватизма и левой идеи явно не желают ни системные левые, ни системные «консерваторы», повязанные политическим консенсусом.

Сегодня это одна из главных фигур умолчания в российской политике. Правда, прикрываемая ею политическая конструкция становится всё менее устойчивой. Разрушение российского политического мифа в этой его части — дело очень недалёкого будущего. Но сегодня обыватель всё ещё уверен: консерватор — это тот, кто носит на груди табличку «Консерватор», набранную шрифтом Book Antiqua для пушей наглядности.

Существующее положение дел вполне устраивает тех, кто любит спорить с публицистами-западниками, гневно комментировать заявления американского Госдепа и разыгрывать политический спектакль под названием «Противостояние внешнему влиянию». Причём отдельно взятые заявления таких политиков вполне могут быть здоровыми — скажем, отрицание ювенальной юстиции. Но это ещё не повод отказываться от системного анализа и принимать исключение за правило. Тут как раз тот случай, когда исключение подтверждает правило.

Так же наивно выглядит релятивистское жонглирование политическими понятиями. Вот реплика, взя-

тая из типичной на сегодняшний день политической дискуссии: «Это вы считаете, что я либерал. А для господина Красовского я, можно сказать, консерватор. Точек зрения много».

Это демагогия. Оценочных суждений много, но критериев политической принадлежности мало. Главный из них связан с ответом на вопрос: как соотносятся экономика и идеология?

Консерватизм и левая идея: точка схода

Сегодня в сознании обывателя отсутствует разметка политического поля, в которой реальные консерваторы занимали бы положенное им место. Вместо этого мы наблюдаем непрерывную подмену понятий. В центральных СМИ консерваторами называют то «системных либералов», то державников и государственников.

Но подлинный консерватизм — это лояльность традиции, а не власти. Союз с властью возможен лишь тогда, когда власть охраняет и развивает традицию.

В настоящий момент страна существует в режиме директивного либерализма: либеральный экономический блок в правительстве несменяем, и он, в конечном счёте, определяет формат политики. Раньше эта политика переваривала сырьевой сектор и остатки советской индустрии. Сегодня удар либеральной реформации направлен против социалки (образование и наука, медицина) и подбирается к базовым элементам социума: к семейным ценностям (посредством

ювенальных технологий), религии и Церкви (борьба со строительством храмов, проект упразднения патриаршества, идея дискриминационного «Религиозного кодекса»), личной информации и нормам нравственности. Тем самым де-факто признается высокая степень «капитализации» всего вышеперечисленного. Иные политики склонны объяснять происходящее случайными историческими зигзагами — мол, «такая уж Россия страна».

Но мы хотели бы воздержаться от исторических и политических мистификаций. Историю и политику делают конкретные люди. Другое дело, что действия конкретных людей подвержены системным законам.

Повторим озвученное ранее. В странах третьего мира власть объективно противостоит обществу, а не защищает его. Она не консервативный, а революционный элемент (вспомним знаменитую пушкинскую фразу: «Все вы, Романовы, революционеры!»). И всякий охранитель в этом случае будет охранителем революции.

Идеологическая ниша российской власти — либерал-большевизм, а не консервативный либерализм, как мнится тем, кто хотел бы видеть российскую власть в чём-то подобной американским неоконам. Причина проста: российский либерализм может быть только авторитарным. Об этом наглядно свидетельствуют события и 1992-1993 годов, и 1998 года. И это еще одна причина, по которой отечественная марка либерализма стремится приобрести консервативную окраску. Так можно выдать стабилизацию ре-

жима за общий политический ригоризм и любовь к порядку.

Главный вопрос в том, в каком углу политического поля окажется не «ряженный», а подлинный консерватор (примем за аксиому, что он реально существует).

Очевидно, что подлинны консерваторы, а не носители красивых табличек, как и подлинны левые, вытеснены за границы реальной политики. И те и другие являются антисистемным элементом, их выводят из игры.

Что они могут противопоставить проводимому ныне либеральному курсу?

Первые — требование вернуть нормы традиционной нравственности. Вторые — социальные требования. Главное заключается в том, что эти требования неизбежно совпадут. Возможно, не во вселенском масштабе. Но совершенно точно — в нынешней, прошлой и будущей российской ситуации.

Эта точка схода — следствие той самой «двойной» парадигмы экономики, политики и идеологии. Её появление неизбежно по законам данной системы.

Два направления оказываются в одной нише и начинают смыкаться, влияя друг на друга и сознавая факт взаимного исторического влияния. То есть схождение между ними предопределено не только ситуативно, но и исторически.

Как это выглядит?

Например, очевидно, что христианство (традиционное, а не секулярно ориентированное) исключает социал-дарвинистскую доктрину тотальной конкурен-

ции, то есть путь естественного отбора в обществе. В самом деле, невозможно сидеть на двух стульях — быть антидарвинистом в богословских вопросах и дарвинистом в вопросах социальных. Что это означает фактически? Консервативная ценность дублирует левое требование социальной справедливости. Более конкретный исторический пример: стихийный социализм русской крестьянской общины смыкался с отношениями внутри общины церковной, что не раз подчеркивалось философами-славянофилами.

Сегодня общество начинает понимать: расселение консервативных ценностей и идеи социализма (не большевистского, а консервативного) по разным политическим лагерям — это ложная, неестественная ситуация. Скорее всего, это одна из технологий политического контроля. Но повторим: сказанное справедливо прежде всего для России и третьих стран. В несколько меньшей степени — для евроизгоев, вроде нынешней Греции или Германии начала XX века. Искусственность ситуации разделения консерватизма и левой идеи настолько очевидна, что ангажированным социологам приходится тратить массу усилий, решая одну-единственную сверхзадачу: как не дать расцепить в сознании обывателя «коммунизм» и «социализм», некогда слитые в единое целое советским и постсоветским агитпропом. Ведь как только понятие «социализм» окажется «на свободе» (то есть станет автономным), оно тут же начнёт дрейфовать в поле консервативной идеологии.

Пока удержать это движение удаётся, но уже с трудом.

Выход из тупика

В этом глубинном противоречии заключена подсказка для консерватора, который испытывает трудности с самоидентификацией.

Какую повестку дня он должен предъявить обществу? Необходимо поддержать социальные требования большинства в связи с тем, что они соответствуют требованиям общественной нравственности. Сочетание социальных требований и нравственных ценностей — единственный путь, позволяющий русскому консерватизму выйти из исторического тупика, в котором он оказался не по своей воле.

Разорвать круг исторических навязчивостей, остановить либерально-державный маятник — вот в чём заключается задача консервативной политики. Нации пора утвердиться в поступательном историческом движении. Но для этого необходим консенсус национального большинства. И такой консенсус может быть лишь социально-консервативным.

Мы уже наблюдаем подвижки в риторике некоторых левых партий, обращающихся к ценностям традиции, в том числе религиозным и семейным. Некоторые партийные вожди научились произносить слово «нация» наряду со словом «народ». В определённой части консервативного лагеря появляется интерес к левой политике. Слова о социальной справедливости всё чаще звучат из уст представителей Церкви.

Соборность и русское гражданское общество

Направление мысли, связанное с соединением двух идей, консервативной и социалистической, имеет серьёзную историю.

В России всегда были социал-консервативные лидеры и партии, и это не только умеренная часть эсеров. Сам принцип был озвучен, например, устами протоиерея Валентина Свенцицкого. В 1912 году в статье «Христиане и предстоящие выборы» он писал о том, что на выборах в Думу следует голосовать за «кандидатов левых партий» (эсеров), поскольку только они способны «разъяснить народу, где его враги».

Известный, можно сказать, титульный консерватор Константин Леонтьев помышлял даже о монархическом социализме. В 1880-е он писал: «Иногда я предчувствую, что русский царь станет во главе социалистического движения и организует его так, как Константин способствовал организации христианства ...», (Александров А. Памяти К. Н. Леонтьева. Письма Леонтьева К. Н. Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 94.).

Но самые истоки социал-консерватизма, конечно, следует искать у славянофилов с их пониманием соборности. А. Хомяков с единомышленниками частично вывели это церковное понятие из прежнего контекста и перенесли на общество в целом, подразумевая особый (семейно-общинный) тип связи между его членами. Славянофилы трактовали соборность как об-

щинный идеал, связывая его с идеалом коллективного спасения, характерным для русского православия.

По мере развития русской философии у понятия «соборность» появлялись синонимы. Например, Н. Трубецкой называл принцип соборности «метафизическим социализмом», С. Франк — «философией Мы». А Георгий Флоровский даже в «увлечении коммуной» видел «подсознательную жажду соборности». Николай Бердяев сравнивал соборность как всеобщее спасение с «жестоким», по его мнению, учением Фомы Аквинского о том, что своим блаженством праведники в раю обязаны муками грешников в преисподней.

Но это уже этапы развития идеи. Главный её смысл состоял как бы в сближении крестьянской общины с общиной церковной через посредство идеи «коллективного спасения».

Однако на самом деле проблема стояла гораздо шире и заключалась в создании нового общественного договора, который объединил бы все части российского общества под началом — нет, не религии, — но православных нравственных ценностей.

Постулатами самоопределения крестьянского «мира» были в первую очередь справедливое владение землёй и взаимопомощь. Конечно, взгляды тех, кто был носителем этих постулатов, то есть крестьян, могли не вполне соответствовать «правильному» церковному православию. Но путь социального строительства, намеченный К. Аксаковым и А. Хомяковым, как раз и заключался в том, чтобы эти начала постепенно сблизились. Именно здесь находилась точка

роста русского гражданского общества. К сожалению, его вызревание столкнулось с политическими трудностями: как с прямым противодействием (обезземеливание крестьян, искусственное разрушение крестьянской общины, всевластие «хлебной олигархии»), так и с революцией, обернувшейся новым закрепощением. Исторические катаклизмы ударили по крестьянской общине раньше, чем она смогла им противостоять.

Так очередное прерывание традиции и переписывание национальной идентичности в XX веке во многом свели на нет усилия строителей русского гражданского общества.

Понятия «соборность», «община», «коллективное спасение» нельзя сужать до границ крестьянского вопроса и узко-церковной проблематики.

Принципы крестьянской общины и церковная соборность оказывали влияние на всю русскую жизнь — это легко проследить по архивным документам и произведениям русских классиков (Н. Лескова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Розанова и др.). Есть немало свидетельств этого влияния. Неслучайно любое социально значимое событие в крестьянской России воспринималось в религиозно-аскетическом смысле.

Революционерка Вера Фигнер писала, например, что даже хождение в народ «люди из народа» понимали вполне однозначно: они полагали, что мотивом действий народников является спасение души (Фигнер В. Запечатленный труд. М., 1964. Т. I. С. 125). Многие усматривали религиозный смысл в попытках освободить крестьян. Даже Емельян Пугачёв, призы-

вая крестьян в своё войско, обещал «пожаловать землёй, крестом и бороною», то есть кроме земли вернуть старую, истинную веру. Как бы мы ни относились к личности самозванца, он (а позже народники) апеллировал именно к принципу коллективного спасения.

Сближение церковно-религиозного и социально-бытового укладов было неизбежно и в перспективе, вопреки возникавшим время от времени в народном сознании «бунташным» настроениям, привело бы к формированию христианской нации — гражданского общества своего времени, — если бы процесс вновь не был сорван, как прежде это было сделано в XVII-XVIII веках.

Религиозные корни крестьянского вопроса — неудобная тема для либеральной и «официально-державной» историографии. А потому редко обсуждаемая. Но пора отказаться от иллюзий и разрушить нелепый миф о том, что этот вопрос будто бы выдуман публицистами и историками славянофильской ориентации. Хотя бы потому, что аналогия просматривается и в работах западных ученых. Например, испанский социолог Мануэль Саркисянц склонен считать, что «служение народу» правых и левых народников в России — в том числе и их публичное покаяние — было видом социальной аскезы. И эту аскезу можно сравнить «с англосаксонским протестантским идеалом (*service ideal*)» (Саркисянц М. Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева. СПб, 2005. С. 104).

Конечно, здесь важно не сравнение протестантского и православного идеалов — это предмет обсужде-

ния для другой статьи, — а признание того факта, что соборное, религиозно-общинное сознание было характерно не только для крестьян и крестьянских вождей, но и для их «освободителей» из числа интеллигенции. Даже если освободители мнили себя атеистами.

Иными словами, религиозно-общинный тип сознания присущ не только русскому крестьянину, но и русскому интеллигенту. А глубинная религиозность нередко проявляет себя вопреки внешним, рационально отрефлексированным убеждениям её носителей. И это главная причина того, что даже после гибели крестьянской общины в условиях большевистской России соборность как основа русского социума никуда не делась. Это генотип нации, чего большевики с их историческим материализмом, разумеется, не понимали.

Но как объяснить существование генотипа? В чём его глубинный источник?

Социализация религии

Здесь мы подходим к самому главному вопросу. Обратимся к классической социологии в лице Макса Вебера с его трудом «Протестантская этика и дух капитализма». Вебер полагал, что хозяйственный и социальный уклад всякой нации сформирован под влиянием её глубинной религиозной этики, которая продолжает определять самосознание нации даже после секулярных преобразований, даже в отсутствие церковных институтов или независимо от них.

Так, протестантская этика с её «трудовой аскезой» и «рациональной бюрократией» определила, по Веберу, социальный базис большинства европейских наций. При этом Вебер не был эволюционистом, мондиалистом и культур-шовинистом. Он не считал, что протестантская этика и порождаемый ею социально-хозяйственный организм — модель, которой должны соответствовать все нации мира. В его типологии китайская нация, например, реализует конфуцианский этический комплекс.

Сегодня это веберовское утверждение — аксиома общественных наук. Что из неё следует? Никакая общественная этика не может иметь других корней кроме религиозных. Если связь с ними прерывается, религиозная этика всё равно остаётся в подсознании нации. Её можно реконструировать методами гуманитарных исследований, можно наблюдать воочию в кризисные и поворотные моменты. В такие моменты она выходит из «подтекста» общественной жизни и неожиданно явно обнаруживает своё присутствие.

Иными словами, общественные устройства и «дух законов» (в значении, предложенном Сен-Симоном) напрямую зависят от «культы», который исповедует или исповедовало общество. Верно и обратное: всякая религия рано или поздно перестаёт быть только религией и ложится в основу всей общественной этики, в том числе и секулярной.

Протестантская этика предполагает аскетизм, индивидуализм, накопительство, «трудовую аскезу». Всё это присуще не только прихожанам тех или иных

протестантских церквей, но и вообще европейскому и американскому обществу. Протестантская этика, отделившись от религии, породила особый тип политических отношений и особую экономическую модель — классический капитализм. Имела место социализация религии.

Наша задача — понять, на каком этапе находится социализация религии в России.

В основе русского общества лежит своя цивилизационная модель: православная этика и дух солидаризма. Православная этика предполагает солидарность, частичную эгалитарность, связь традиционной нравственности и справедливости. Этот комплекс восходит к уже упомянутым идеям соборности и «коллективного спасения», характерным для православия вообще и русского в особенности.

Формирование социальной этики (то есть социализация православия) с трудностями, срывами и остановками происходило в России в течение нескольких веков. Постепенно, как это и должно быть, оно распространилось на все части русского общества.

Этот тезис будет понятнее, если провести аналогию с протестантским миром. Точно так же, как православная, протестантская этика перестала быть только религиозной и стала этикой социальной. В сущности, расширение славянофилами понятий «соборность» и «община» имело примерно те же последствия, что и лютеровский перевод Библии, в котором понятие *Beruf* стало обозначать спасительную внутримирскую аскезу (одновременно «профессию» и «высшее призвание»).

Но эта аналогия, разумеется, не полная. Она предполагает одно существенное различие: социализация религии в России не сопровождалась религиозной реформацией — да и не могла сопровождаться ввиду отсутствия условий для «религиозных войн» и бюргерских верований. У нас ситуация выглядела в этом смысле проще: речь шла о «христианизации» социальных отношений. Православный катехизис не претерпел никаких изменений, поскольку процесс шёл по направлению от Церкви к остальному обществу, а не наоборот (аналогичное явление — «культурализация» католичества).

Неправы будут те, кто увидит в деятельности славянофилов признаки религиозной реформации. Неверным будет и утверждение, что расширительное понимание соборности было выдуманно славянофилами с нуля. Столь же сомнительна точка зрения, согласно которой новая соборность стала отражением народной покорности самодержавию, рабского сознания и проч.

Соборный принцип пустил корни в русской светской традиции задолго до самодержавия и до славянофилов — последние лишь подчеркнули связь между церковным и мирским его содержанием. Например, академик М. В. Шахматов находил истоки представлений о соборности уже в летописях домонгольского периода (см.: Шахматов М. В. Опыты по истории древнерусских политических идей. Прага, 1927. Т.1. С.1).

Иными словами, в случае с соборностью и православной этикой мы имеем дело никак не с имперской, а с народной идеей.

Православная этика сравнительно давно стала проникать в подсознание светского общества и определять общественные отношения, чему в немалой степени помогла славянофильская философия.

Но, к сожалению, социализация религии и формирование православной этики упорно тормозились на многих этапах российской истории (Смута, Раскол, реформы Петра I, переворот 1917 года, новая колонизация после 1991-го). Но несмотря на торможение, процесс социализации религии и формирования национальной этики необратим. Он может кончиться только вместе с нацией.

Вместе с тем совершенно очевидно, что нация не может существовать только на контрактных началах, как утверждает классический либерализм. Тем более нация не может состояться как некий политический «проект» (неолиберальная доктрина). Без традиционной этики не складывается пазл благополучной политической системы. Государство либо распадается, либо живет угнетением собственного народа. Задача консерваторов — изменить этот сценарий. Именно поэтому традиционная этика должна лежать в основе русского неоконсерватизма. Она и является главным и необходимым элементом социал-консервативной политической концепции.

Европейская соборность

У многих историков и социологов по отношению к соборности, христианской этике и консервативному

социализму всё ещё имеет место досадный стереотип. Всё это предлагается считать сугубо исторической архаикой, глубоко почвенным русским явлением, свидетельством отсталости и «азиатчины».

Упрёк совершенно не обоснованный. Принцип консервативного социализма отнюдь не только русский. Да и архаики в нём не больше, чем в морали *homo homini lupus est*, присущей адептам рыночного фундаментализма.

Самое главное обстоятельство заключается в том, что в Европе есть и всегда была своя собственная соборность.

Например, в Германии социал-консерватизм связан с понятием *Gemeinschaft* («гемайншафт») — «сельское братство». Предоставим слово составителям энциклопедий, и станет понятно, что означает соборность в немецком языке.

Термин *Gemeinschaft*, обычно переводимый как «община», противопоставляется термину *Gesellschaft*, или «обществу» («ассоциации»). Общества, для которых характерны *Gemeinschaft*-отношения, однородны, в значительной степени основаны на родстве и органических связях и отличаются моральной сплочённостью, часто основывающейся на общем религиозном чувстве. Эти отношения разрушаются в процессе разделения труда, роста индивидуализма и конкуренции, то есть в процессе развития *Gesellschaft*-отношений. Если *Gemeinschaft* рассматривается Ф. Теннисом как выражение подлинной, организованной жизни (Toennies, 1887), то *Gesellschaft*, с его

точки зрения, является искусственным социальным устройством, основанным на конфликте эгоистических устремлений.

Исчерпывающее определение. Сравнение даже двух эквивалентных понятий из русской и немецкой традиций уже позволяет увидеть, что консервативный социализм — не эксклюзивное русское изобретение. Да и использование соборности для наполнения политических категорий консерватизма — не только «русский путь».

Похожие процессы в сознании русской и немецкой нации шли параллельно, но независимо друг от друга. Они абсолютно равноправны.

Этот факт буквально даёт нам в руки формулу европеизма, непонятную русским западникам. В нормальном развитии наций вполне может наблюдаться подобие, но не может быть намеренного подражания. Там, где подобия нет (например, Германия в чём-то не похожа на Англию), нет необходимости его выдумывать. В противном случае мы получим на выходе ту самую «псевдоморфозу», о которой писал Освальд Шпенглер.

Примечательно, что так остро, как в России, «сельское братство» и его утрата переживались именно в Германии — стране, которую Европа воспринимала как своего рода пасынка западного мира. По-видимому, чем более «периферийной» является страна — не столько географически, сколько политически — тем характернее для неё схождение политических полюсов.

Понятие *Gemeinschaft* в Германии оказалось вновь актуальным в период между мировыми войнами, на волне так называемой «консервативной революции», стремившейся выхватить немецкую нацию из тисков буржуазной англо-американской цивилизации. В это время *Gemeinschaft* было применено к отношениям среди бывших фронтовиков. Поклонники немецкого социал-консерватизма говорили уже о военном братстве, которое раз и навсегда, даже в мирное время, отменяет любые сословные перегородки. Все эти идеи Освальд Шпенглер изложил в 1919 году в книге «Пруссачество и социализм», которая, по признанию автора, вызвала «крики ненависти». Но она же породила движение, в рамках которого развивалась идея соединения консерватизма и социализма. Причем понятие *Gemeinschaft* использовалось здесь в противопоставление либерализму и той «внутренней Англии» (термин Шпенглера), по вине которой Германия потерпела поражение в Первой мировой.

Идеи немецкой «консервативной революции» популяризировали и средние литераторы, такие как Эрнст Юнгер, и будущие классики Томас Манн и Гуго фон Гофмансталь. Кстати, впервые понятие «консервативная революция» употребил именно Томас Манн в предисловии к антологии русских писателей в 1921 году, позаимствовав его из «Дневников писателя» Ф. М. Достоевского. Манн считал, что термин «консервативная революция» возник в контексте славянофильской мысли и полностью ему принадлежит. Интересно, что писатель воспринимал русский

социал-консерватизм как идейно родственный немецкому социал-консерватизму, находившемуся в фазе расцвета.

В статье «Размышления аполитичного» автор «Будденброков» и «Волшебной горы» цитирует Достоевского, размышляет о союзе Германии и России против англо-саксонского утилитарного мира и задаётся вопросом: «Разве у нас нет наших западников и наших славянофилов?» Отвечая на этот вопрос утвердительно, Томас Манн признаёт, что *deutsche Sapadniki* желают тотального изменения национального характера немцев. И пишет по-английски: «The world is rapidly becoming English» («мир стремительно англизируется»).

Этот сюжет знаком каждому русскому на примере истории России.

В Германии, как и в России, генезис левого консерватизма шел с двух сторон. Встречное движение со стороны социал-демократов наблюдалось вполне отчетливо. Публицист Армин Молер отмечал, что среди представителей «консервативной революции» были как «левые люди справа», так и «правые люди слева». И объединяло их неприятие не только либерализма, но и «старого» консерватизма. Эти новые консерваторы не страдали особой ностальгией по монархии и кайзеру. Сословные предрассудки также были им чужды: сословия были отменены фронтовым братством (см. подробнее: Руткевич А. М. Консерваторы XX века. М. : Изд-во РУДН, 2006). Соединение социалистической и консервативной идеи можно было

наблюдать и у правых социал-демократов — этот политический вектор описан И. Пленге в книге «1789 и 1914. Символические годы в истории политического духа».

Разработку левоконсервативной идеи легко найти в работах Макса Шелера и Вернера Зомбарта. Доклад Макса Шелера «Христианский социализм как антикапитализм» говорит об «антикапиталистической политике», о «пролетарских нациях» и об «англо-американском капитализме».

После Второй мировой войны проблема левоконсервативного альянса не была решена. В 60-е годы XX века либерализм критиковали не только справа, но и слева, в частности устами представителей Франкфуртской школы. Франкфуртские неомарксисты писали скандальные статьи о крахе «проекта Просвещения» и давали понять, что идеология Просвещения сама по себе суть религиозная утопия, хоть и рациональная по форме (см.: Хоркхаймер М., Адорно Т. Дialeктика Просвещения. М.: Ювента, 1997). Либерализм вновь оказался между двух огней.

Но это лишь отголоски прежнего триумфа.

Консервативное движение в Германии было остановлено и сорвано приходом к власти нацизма. Национал-социалисты пытались наладить диалог с консерваторами, но последние решительно отвергли такую возможность и были обвинены в «упадничестве» (в частности, «упаднической» и вредной книгой в Германии 1930-х годов считался «Закат Европы»).

Этот сюжет отчасти напоминает российскую ситуацию: в России традиция консервативного социализма была уничтожена большевиками — и в идейном, и в физическом смысле.

Остаётся задуматься над тем, кто сегодня препятствует левоконсервативному консенсусу в обществе. Это уже не нацисты и не большевики, но либералы и коммунисты-ортодоксы. В некоторых ситуациях они на удивление легко находят общий язык.

*Русский неоконсерватизм:
справедливость и традиция*

Сегодня консервативный идеал не исчерпан. Он неизбежно придет на смену денежному феодализму, в который выродился классический капитализм, описанный Карлом Марксом. Идеологию, в которую облекается дух этой системы, можно назвать рыночным фундаментализмом. И поэтому адекватный ответ на неё может дать только консерватизм левый. Тем более что неолиберальный формат в свою очередь пытается приспособиться к переменам ближайшего будущего и впускает в себя консервативную риторику в безопасных дозах, в качестве вакцинации. Этот процесс можно проследить на примере американского неоконсерватизма, отражающего интересы мирового энергетического лобби (за финансовый сектор традиционно выступают демократы).

Очевидно, что «периферийный» консерватизм, в том числе русский, не будет слепком с доктрины

американских неоконсервативов — о причинах было написано выше. Но он не может существовать и в реликтовых формах, как монархически-сословных, так и выморочных советских. Тем не менее в каждом периоде российской истории, несмотря на её «прерывистость» и «пунктирность», содержится зерно традиции, которое может быть оттуда извлечено и интегрировано в новый проект. В связи с этим к наименованию проекта есть смысл добавить приставку «нео», подчёркивающую его интегральную основу.

Понятие «интегральный консерватизм» не ново (см., напр.: Ремизов М. Консерватизм сегодня: аналитический обзор // www.apn.ru/publications/article1748.htm), но важно наполнить его адекватным содержанием. Основа этого содержания, как уже было сказано, в следующем: русский неоконсерватизм будет социалистическим в умеренном понимании этого термина. Ему придется вобрать в себя как ценности традиционной нравственности, так и идею социальной справедливости. Неизбежность такого слияния диктуется внутренними и внешними причинами: и русской традицией, и политической логикой последних десятилетий.

Формулирование левоконсервативной идеи возможно на основе национальной социально-этической модели, которая описывается формулой «православная этика и дух солидаризма».

Очевидно, что на первом этапе перед социалконсерваторами встанут две задачи. Во-первых, вернуть себе идею социальной справедливости, моно-

полю на которую остаётся в руках коммунистов. Во-вторых, перехватить у либералов семантическую власть и присутствие в медиасфере.

Решение первой задачи значительно облегчит решение второй.

Как быстро программа будет приведена в действие, покажет ближайшее будущее.

Александр Щипков

Перспективы авангарда

Вы думаете, они случайно наляпали? Нет, нарочно.

Есть глобальное противоречие в истории человечества — противоречие, которое здравый ум вместить не может: почему, когда наука была слепа, художники изображали мир детально, но когда научный прогресс достиг высот, художники стали передавать мир кляксами, точно в каменном веке? Почему знания человечества развиваются обратно пропорционально способности к самосознанию? Мы знаем, как выглядел человек XV века, — есть сотни тысяч портретов; но мы не знаем, как выглядит человек XXI века, — вместо изображения автор оставил кляксу. Никто не будет отрицать, что цивилизация развивается в лучшую сторону: мы побеждаем болезни, срок жизни увеличился. Но неужели отсутствие самосознания необходимо для прогресса? Мы успокаиваем себя: современное дикарство — показное, оно придумано для забавы, чтобы оттенить прогресс.

Выражаясь в терминах К. Леви-Стросса — «сырое» и «приготовленное», — можно говорить о том, что современная культура тщательно готовит блюдо, которое имитирует сырую пищу. Искусство лучших кулинаров состоит в том, чтобы создать иллюзию натурального, не потревоженного кухней продукта.

Культура требует новизны; яблоко с древа познания обязано выглядеть свежим. Имитация первичности — необходимое условие рынка. Однако сегодняшнее «сырое» — вовсе не свежий продукт. Сегодняшнее «сырое» в культуре — не произведение наивной души, не свидетельство искренности. А наоборот. «Сырое» в культуре готовят изошрённо, «сырое» сегодняшнего дня свидетельствует о пресыщенных запросах цивилизации, об изысканном вкусе, который алчет небывалого. Так возникло своего рода искусственное дикарство, сырое «второй свежести». Новое дикарство культивируют специально — для того, чтобы взбодрить цивилизацию.

Слава западной цивилизации — в её неуклонной молодости: подобно Афродите, всякий день выходящей из морской пены невинной, цивилизация Запада не чувствует (или делает вид, что не чувствует) груза лет. Войны, жертвы, история, опыт — всё это не считается. Западная цивилизация не может позволить себе стареть. Пусть отсталые этносы живут древними традициями, но цивилизация Запада ежегодно проводит сотни косметических процедур: фестивали, форумы, вернисажи, — утверждая вечную молодость. Цивилизация молода, и, следовательно, культура тоже должна быть молодой всегда. Хвост традиции отбрасывают; традициями занимаются архивисты, а молодая культура идёт вперёд.

Пароль современного мира — «актуальность». Этот пароль повторяют друг другу кураторы, колумнисты, шоумены, художники-новаторы. Вы любите

актуальное искусство? Ну ещё бы, мы же за прогресс! Термин «актуальность» может ввести в заблуждение. Иной решит, что фигуранты художественного процесса желают быть в курсе политических событий, ищут ответ на злобу дня. Мир сотрясают мятежи голодных, идут войны, но это не считается «актуальным». Политическая составляющая давно ушла из современного искусства: ангажированность Сартра или Гойи сегодня не в почёте, никто не озабочен страждущими и униженными. Нынешняя актуальность отнюдь не в этом; для западной культуры актуально быть вечно молодой, а значит, актуально то, что витально. Актуальность есть вечная оживлённость, вечная невинность Афродиты; девственность всякое утро актуальна, а что было прошлой ночью, никто не помнит.

В этом смысле «сырое» всегда востребовано культурой, которая давно уже питается только «приготовленным».

Можно ли создать культивируемое «сырое»? Такого вопроса Леви-Стросс не ставил, но это основной вопрос культуры христианского мира сегодня. Христианская цивилизация не всегда может договориться сама с собой: «сырое» и натуральное нужно цивилизации для здоровья, но нужно ли «сырое» христианской цивилизации? Этот вопрос можно сформулировать иначе: возможно ли постхристианское язычество, может ли христианская цивилизация существовать отдельно — без традиции христианства? И какое будет искусство у такой цивилизации?

II

Собственно, ответ уже дан; просто неизвестно, считать ли то, что артисты производят сегодня, искусством, или это принципиально новое занятие. Есть виды деятельности, которые исчезли за ненадобностью, например, уже нет трубочистов; вот и живописцев скоро совсем не будет. Изобразительное искусство Запада вернулось к дохристианской эстетике, и живопись не нужна. Музеи современного искусства ищут новые выразительные средства; традиция прервана. Микеланджело учился у Гирландайо, Рубенс следовал Микеланджело, Делакруа брал Рубенса за образец — до определённого момента связь поколений была очевидной. Сын перенимал навыки отца, но вдруг сын отказался от наследства.

История пластических искусств Запада проделала путь, который кажется нелепым: после столетних усилий искусство вернулось к отправной точке, к языческому знаку. А как называть автора знака — мы не знаем. Художник ли он? Наследует ли он Леонардо?

Античность практически не знала перспективы, это было искусство первого плана и локальных цветов. Античный образ существует на площадях и на фризях храмов — среди фигур первого плана. Выстроенные в одной плоскости герои не знают дали за спиной, они утверждают себя здесь. Средние века выстроили зримый мир в системе обратной перспективы, утвердив иерархию ценностей от горнего к дольнему — в этой протяжённости и существовало сознание художника.

Затем обратную перспективу икон сменила прямая перспектива картин — следствие философии Возрождения; так произошло потому, что точкой схода вместо Бога сделался человек. Протяжённость бытия оказалась как бы развёрнутой в противоположную сторону, но оттого не стала менее сложной. Просто иерархия небесная была заменена иерархией земной, но последняя выстраивалась не менее тщательно. Эта тщательность восхождения по ступеням, иерархия знания, последовательность понимания и есть история пластического искусства Запада.

Леонардо часто повторял дорогую ему мысль: «Моделировка — душа живописи»; имелась в виду работа с полутонами, оттенками, нюансами цвета, то есть такая работа, которая создает из локального цвета предмета его пространственную характеристику. Драма личности состоится в столкновении со средой, в погружении субъекта в пространство; онтологическое бытие предмета можно осознать через его отношение к другим предметам и к воздуху, их окружающему; промежуток между двумя объектами не менее интересен и важен, нежели сами эти объекты — к такой мысли пришла эстетика Возрождения. То было последовательное утверждение онтологии. Шаг за шагом двигаясь к горизонту, западная эстетика утверждала осмысленное бытие — через перспективу. Бесконечно протяжённое пространство Ренессанса и Барокко суть метафора западной истории. Усложняя локальный цвет (то есть моделируя, по Леонардо), погружая предмет в среду, художник Возрождения (и следом

за ним барочный мастер) проделывал точно то же, что делал со своими персонажами Шекспир, приводя героев в конфликт с временем. От геометричности средневековых форм, от линейного движения готики эстетика Запада двинулась дальше — в многомерное пространство. Высказывание о мире усложнилось: «сфумато» Леонардо, многоплановость Учелло, «тенеброзо» (светотень) эпохи барокко, «валера» (тональное звучание цвета) XIX века — это настоятельная потребность передать сложные отношения субъекта с пространством, осознать своё бытие по отношению к бытию других. Моделируя, Леонардо словно взвешивал бытие каждого отдельного предмета по отношению к протяжённой жизни всего остального. Можно сказать, что искусство западного мира развивалась, выясняя именно личное отношение к общей истории.

Это и есть школа западного рисования, где пластика неразрывно связана с западной философией и религией. Иначе и быть не может: идея (как мы знаем со времён Платона) ищет себя через форму. Когда к платоновскому положению присовокупился догмат христианской веры о воплощении духа, о неслиянной нераздельности, представить себе, что пластические искусства развиваются отдельно от философии, стало невозможно. Было бы неверно рассматривать средневековую пластику вне соборных диспутов, вне полемики Дунса Скота и Фомы Аквинского, Бонавентуры, Альберта Великого, Уильяма Оккама. Это утверждение банально, но его не грех повторить: отличия Чимабуэ от Мазаччо, делла Франческа от Мантеньи, флорен-

тийской школы от феррарской, отличия, которые фиксирует (если придирчиво смотрит) глаз, обусловлены различием концепций и мировоззрения. Никто не решится утверждать, что Оккам и Фома Аквинский думали одинаково о мире — они со всей очевидностью сказали противоположное. Точно так же и в изобразительном искусстве всякий настоящий мастер вступал в спор об истории. По сути, вся история искусств и есть бесконечно длящийся диалог об истории.

Тем удивительнее, что в наши дни западное искусство отказалось от перспективы вовсе, и долгий диспут прервали на полуслове. Вообразите себе диалог «Пир», обрывающийся сразу после речи Аристофана, ещё до того, как заговорили Агафон и Сократ. Мы никогда не узнаем, почему Эрот владеет благом и что такое благо. Простая констатация случившегося в истории искусств звучит нелепо: как так — отказались от перспективы? как так — отказались от антропоморфного образа? Цивилизация не может отказаться сама от себя, историю нельзя отменить. Однако это произошло. Одновременно с декларациями (их произносят, от них отказываются, затем произносят вновь) о «конце истории» в изобразительном искусстве произошёл возврат к первому плану как единственному содержанию изображения. Истории вдруг не стало — и немедленно пространство сплюснлось. Объект победил пространство, отменил даль, перечеркнул существование другого предмета.

Можно сказать, что искусство «первого плана» роднит современную эстетику с эстетикой античной, од-

нако утратой перспективы сходство и ограничивается. Причём античность перспективу как раз искала, и искала настойчиво: согласно легенде, состязание Аппеллеса и Перейка породило перспективу (Перейк провёл на стене дома Аппеллеса красную линию, показывая, что он здесь был, а Аппеллес провел параллельно коричневую линию, зрительно удалённую от красной, показывая, что его в доме не было), но стараниями десятков кружков и школ XX века открытие Аппеллеса признали ничёмным. Перспектива более не нужна — куда ещё стремиться обществу, когда всё уже есть сейчас? Искусство западного мира ушло от проблемы протяжённости бытия, от онтологии пространства; тем самым оно ушло от образа, который создавался и ткался внутри среды и вопреки среде. Античность, а вслед за ней всё развитие изобразительного искусства, шла от знака к образу; современное искусство Запада вернулось к знаку, не знающему сомнений и референций, к тому знаку, который отменяет иерархию образа.

III

Предмет первого плана — обратная перспектива — прямая перспектива — возвращение к первому плану; эта динамика показывает эволюцию западной культуры в целом. Если перспектива — отражение иерархии ценностей, то современная эстетика низвела иерархию до простейшей схемы, вероятно, оставив лишь наиболее важное. Если перспектива — это метафора истории, то современное искусство остановило исто-

рию, утверждая, что достигнуто акме развития. Несмотря на то, что современная эстетика осведомлена о сложности мира, приоритетом объявлено упрощение. Разумеется, упрощение мнимое; это лишь игра в ювенильность: человечеству не дано вернуть детство, а показная юность — всего лишь замаскированное старение. Развитие науки и усложнение знаний происходило параллельно с упрощением искусства, одновременно с тем, что пространство вокруг образа сжималось, и, наконец, сплющилось.

Историку искусства может быть обидно, но это факт: от многовековой традиции усложнения отказались ради спонтанной простоты; тщательно «приготовленное» «сырое» стало результатом поэтапного возврата к витальному язычеству.

В цивилизации, которая продолжает себя именовать «христианской цивилизацией», потребовалось редуцировать значение христианства ради выживания самой западной цивилизации, ради её, так сказать, конкурентоспособности.

О том, что христианство — балласт, предупреждали многие. Ницше, например, об этом говорил громко. Однако настоятельная потребность редуцировать миссионерскую тему в культуре возникла уже после войны, когда появилась необходимость деколонизации. Искусственное язычество и новое дикарство есть выбранная цивилизацией роль по отношению к бывшим колониям. Некогда дикарей пытались научить ремёслам и искусствам, показать им, что лучше не быть дикарями, не заниматься каннибализмом; их даже пы-

тались учить живописи, пытались кормить варёным мясом, иногда лечили, хотя чаще использовали для медицинских опытов. В ту пору западное искусство было дидактическим: образ и идеал обязаны были дикаря воспитать. То было время простых и внятных отношений с колониями, которые изменились; изменился и эстетический код рабовладельческого общества. Теперь это общество демократическое, и искусство у него соответственное; это искусство равных, в том числе равных дикарям.

Решалась важная задача: искали точную интонацию в диалоге с Третьим миром, который декларировали равным себе, хотя настоящего равенства, конечно, никто в виду не имел. Некогда люди Запада использовали дикарей беззастенчиво, а новая идеология требует уравнивать колонизированные земли в правах. Можно было ожидать, что дикарей приблизят к цивилизации, однако границу с Третьим миром маскировали иначе: сами притворились дикарями и таким образом изжили комплекс стыда по отношению к обездоленным и решили проблему обучения неграмотных. Проблема чужого «сырого», которое надо уважать даже по отношению к своему «приготовленному», решилась радикально: люди Запада создали *postfactum* свои этнические подделки, которые предъявили миру как ценность. Прежде прошлое Запада измерялось раскопками Древнего Рима, античными захоронениями, но задним числом достроили ту первозданную дикость, которую Рим уже не помнил. Это достроенное языческое прошлое, это искусственное дикарство ликвидировало необходимое

сочувствие к Третьему миру, положенное сострадание дикарям, обязательное обучение. С какой стати люди Запада должны умиляться чужим первобытным чувствам, если у них существует свой собственный каменный век, не менее первобытный, вечно актуальный? Бремя белых приятно нести, когда разрешено бить туземцев по пяткам, но если требуется уступать туземцам место в трамвае, то на кой ляд такое бремя белых? Искусственное дикарство избавило христианскую цивилизацию от невыгодной сегодня роли миссионера — ответственность перед «малыми сими» только мешает; нам нечему научить дикарей, так мы потягаемся с ними в дикости, отчего же испытывать сантименты к униженным? Некогда Брехт мрачно пошутил, сказав, что самое лучшее, что можно сделать с мирным населением во время войны, — это сбросить его в тыл к противнику, чтобы враги сами с ним разбились; ровно та же логика возобладала в отношении к дикарям. Вместо того, чтобы обучать диких и нести груз заботы, проще собственное население обратить в дикарей, и пусть уж эти дикари сами как-то между собой договариваются. Современному художнику Запада проще найти точки соприкосновения с индейцем и полинезийским туземцем, нежели с Микеланджело; но это отнюдь не значит, что западный банкир считает себя родственником туземного вождя. Вот он-то как раз своей прямой родословной от Мидаса, Жака Кера и Якоба Фуггера не прерывал.

Разумеется, дикость нового образца, *fauve* третьей волны, не затронула своей разрушительной силой ра-

боту алмазных копей, нефтяных промыслов и банков. Имитация дикости в культуре не коснулась финансового капитализма; деньги продолжают печатать, и колониальная администрация как правила, так и правит. Пришлось редуцировать — ради новой геополитической концепции — дидактическую роль искусства, убрать антропоморфный образ, притвориться более дикими, но всё это не коснулось правящего класса.

Правда, в комнатах богатых домов, где прежде висели портреты предков, нынче находятся изображения непонятных знаков — загогулины, квадраты, полоски. Нет, вы не в гостях у ирокеза, вы не в доме ацтека, вы в гостиной западного буржуя, который сегодня делает вид, что он чувствует так же первоначально, как ирокез. Но он отнюдь не забыл о своих преимуществах перед ирокезами.

Вам объяснят, что наличие языческих мотивов свидетельствует о секуляризации исторического сознания. Антропоморфный образ и христианскую дидактику изъяли: это не передаёт более динамику событий; из искусства ушло изображение лица — вместо людей изображают порыв. «В будущее возьмут не всех» — это любимый слоган новаторов XX века. Христос, например, считал, что в жизнь вечную возьмут всех, но в этом пункте современная цивилизация склонна придерживаться реалистического взгляда на вещи: и в жизни сегодняшней приняты не все, и в будущее всех не возьмут, не резиновое. Первым, что изъяли из будущего, оказался христианский образ. Насколько христианская цивилизация осталась

христианской в отсутствие образа, время покажет, а сегодня мы можем констатировать лишь то, что для успешного функционирования западной эстетики потребовалось стать языческой.

Превращение художников в новых дикарей цивилизации выгодно и по другой причине — искусство тем самым выходит на периферию общественной жизни, участия в решениях социальных проблем не принимает. Управлять дикарем значительно проще, надо лишь дать ему возможность «самовыражаться». Сегодня этой приманкой, точно бусами искусственного жемчуга, одурачено большинство из тех, кто именуется авангардистами: нам разрешено плясать голыми, мы можем испражняться в музеях, мы кидаемся экскрементами, следовательно, мы свободны. На самом деле всё наоборот: это свидетельство того, что вы — рабы, и вам не разрешено думать о главном. Вы выброшены из политики, вас никто не спросит о мире, вам нечего сказать о вере, вы немые, когда речь идет о знании — и вы думаете, что выражаете себя, когда скачете нагишом? Нет, вы выражаете пустоту и рабство.

Есть и третий аспект проблемы удобной дикости: новая культивированная дикость — это вакцина против революций. Западная эстетика сознательно вакцинировала себя варварством, чтобы избежать революции, то есть того большого «варварства», которого цивилизация всегда опасается. Продлевать христианскую дидактику было опрометчиво: мало ли куда это заведет? Но язычество гарантирует покой. Никакое социальное изменение, направленное на улучшение

положения униженных, не найдёт сочувствия в тех, кому разрешено сегодня паясничать. Для чего помогать обездоленным? «Глядите на меня, — говорит новый самодовольный дикарь, — я свободно “самовыражаюсь”, мне никто не запретил; пусть и они, так называемые нищие, тоже самовыражаются — протестуют, гремят в погремушки. Хотите равенства? Пляшите! У нас — свобода!».

Вакцина протеста, то есть искусственно введённый в общество минимальный протест, редуцированный до кривлянья социализм, идеально соответствует новому типу угнетения. Паяц пляшет в женском платье, дурак испражняется в музее — какое отношение это имеет к миллионам голодных? Но вам дадут понять, что ужимки дикарей есть концентрат свободы, а значит, наше общество отнюдь не плохо. О каком угнетении можно говорить, если клоун свободно кривляется? Польза от искусственно внедрённого язычества огромна, а расходы минимальны. Поступиться христианской дидактикой имело смысл ради торжества цивилизации. Мы становимся дикими, чтобы двигаться к прогрессу.

IV

В этом пункте рассуждения возникает соблазн рассмотреть редукцию христианского начала в искусстве Запада как тенденцию, полнее всего выразившуюся в Ренессансе. Употребляя термин «язычество», неизбежно вспоминаешь другой — «возрождение». Соблаз-

нительно сказать, что процесс возврата, обратного движения к античности начался давно, что это движение вспять имманентно западной цивилизации в целом. Уходя от язычества, культура всякий раз возвращается к язычеству, от вновь приобретённого — к корням. Да, христианская цивилизация нуждается в поддержке, в подпитке от языческих корней, этого никто не отрицает.

Христианский образ, хрупкий и уязвимый, обречённый на мученичество, а если на победу, то лишь ценой смерти, составляет неубедительную конкуренцию античному атлету, лапидарности куроса, исполинским вавилонским статуям. Когда культура поворачивает назад, она ищет витальную мощь. Таким образом «актуальное» (то есть вечно молодое) почти неизбежно означает «языческое». Образец и ориентир, вдохновлявший Винкельмана и Лессинга в XIX веке, Мирандоллу и Фичино в XV веке, вероятно, вдохновляет и новатора наших дней или того куратора, который объясняет новатору, чем надо руководствоваться. Можно не произносить термин «язычество», но обожествление молодости и силы ничем другим и не является.

Поскольку Ренессанс XIII-XV веков рассматривается многими историками как сознательное воскрешение античной эстетики и противопоставление языческой красоты христианской аскезе, легко можно построить рассуждение так, чтобы включить в контекст обязательных возвратных движений к корням и современную инсталляцию.

Акции новаторов сегодня напоминают языческие ритуалы (так, музеи современного искусства вызывают в памяти курганы и захоронения языческих царей, а собрания кураторов и адептов похожи на ритуальные камлания), но парадоксальным образом «неоязычество» произведено для прославления цивилизации, которая зовется христианской. Мы невольно вспоминаем египетские, греческие или полинезийские ритуалы, наблюдая за современной культурой, но, помилуйте, разве греческая и римская культуры не были тем полем, на котором возшло христианство?

Немолодой обнажённый мужчина бежит по залам музея, привязав к пенису газовую горелку; нагая дама бьётся всем телом об стену выставочного зала; пицца, размазанная по тарелке, гниёт под взглядами зрителей; новорождённый цыпленок умирает, будучи помещён под раскалённую лампу, — это не ритуалы индейцев племени Бороро, это изощрённый дискурс современной культуры. Так сегодня делают нарочно. Планы по привязыванию газовой горелки к пенису обдумывают скрупулёзно, как сложную композицию Сикстинской капеллы.

Авторы нового дискурса полагают, что повторять достижения былых эпох — значит демонстрировать усталость цивилизации, идти вспять. Цивилизации для успешного соревнования в историческом беге необходим молодой напор, и, гальванизируя цивилизацию, мы совершаем нечто сходное поступкам Микеланджело — разве флорентиец не оживлял христианских святых античной мощью, разве он не впускал языческий

атлетизм в христианскую парадигму? Сегодняшняя эстетика объясняет нам, что новая витальность имеет те же основания, что и Ренессанс.

Если обыватель возмутится безобразиям новаторов, ему объяснят, что фрески в капелле уже существуют (зачем повторяться?), в то время как газовая горелка на члене — это небывалое высказывание, так дух себя прежде не выражал. Обыватель может посетовать на исключительную вторичность любого хулиганства: невежество и вульгарность во все века одинаковы. Но что, если горелка на пенисе — символ нового мышления, огонь Прометея?

Когда-то мещане не понимали Ван Гога, сегодня мещане не понимают человека с газовой горелкой на пенисе. Правда, мещане порицают не только Ван Гога, мещане порицают любого бытового алкоголика, хулигана или вора. Однако обладатель газовой горелки ассоциирует себя не с бытовыми правонарушителями, но с Ван Гогом или Микеланджело. Новатор сегодняшнего дня шокирует (так думает он сам) толпу так же, как шокировали новизной творцы Ренессанса и «проклятые» художники Нового времени; если для того, чтобы разорвать узы, спеленавшие культуру, надо снять штаны — следует так поступить. И разве проказы не согласуются с дионисийским культом, с вакхическими безумствами?

Обыватель спросит: но для чего считать язычество идеалом? Разве христианский идеал был хуже? Правдивый ответ давно дан, обыватель просто не хотел правдивый ответ слышать: вернуться к язычеству

следует, чтобы выйти из исторического тупика. Осязаемая победа в истории может быть достигнута лишь язычеством, а той победы, которую может предъявить христианское мировоззрение, цивилизации недостаточно. Для того чтобы христианская западная цивилизация была непобедима, нужна языческая мощь прошлых веков, надлежит вернуться к истокам. В этом смысле те, кто возвращаются назад, и являются авангардистами.

V

Авангардом в искусстве называется движение вспять, от христианской парадигмы — назад к языческим корням. Мы не числим по ведомству авангардистов ни Фому Аквинского, утвердившего веру через знание, ни Мантенью, отстоявшего христианский канон вопреки античной пластике, и никого из отцов церкви мы не называем авангардистом, и философов неоплатоников, и Рембрандта с Петровым-Водкиным, рисовавших мадонн, мы авангардистами не называем; да и Шагал не авангардист, и даже Пискассо не авангардист. Авангардистом всегда будет тот, кто поставит знак вопроса над разумностью бытия и веры. Наша современная культура называется авангардной потому, что отменила христианскую парадигму: искусство западного мира столетиями развивалось в направлении «безличный знак — одухотворённый образ», но однажды вектор изменили; это сделали авангардисты. Некогда процесс воплощения образа в искусстве

был обоснован теоретически, процесс развоплощения также происходит согласно теории. За развоплощение долго боролись, писали трактаты «Бог не скинут», доказывали, что это историческая необходимость.

Представляется курьёзным, что наиболее рьяный безбожник и язычник Малевич был назван духовным художником, а его квадратики наделили сакральным значением. По сути дела, супрематизм являлся совершенным аналогом программы национал-социализма, однако эта жестокая программа многими воспринимается как манифест гуманизма. Авангардное — это ведь хорошее, не правда ли? Один из многочисленных последователей уберменша Малевича, наивный художник Эдуард Штейнберг повторял за Малевичем, рисуя квадраты, и был при этом истово верующим христианином — он был убеждён, что рисует духовные сущности. Если бы Штейнберга спросили, почему он не рисует лица людей, он бы сказал, что в квадратах ему является эманация духа и т.п. Подобные aberrации сознания характерны для нашего времени: мы принимаем всё протестное за гуманное, даже если это протест против гуманизма. Этот почти что мистический культ нового, ниспровергающего канон, нового жестокого и пустого, заменил знание и веру — и языческое камлание объявили духовностью.

Кандинский назвал свою книгу «О духовном в искусстве», однако это не означает, что мастер думал о духовном, подобно Августину Блаженному, и принципиально отличал Град Божий от Града Земного. Речь в данном случае идёт об иной духовности.

В борьбе частного против общего (казалось, что общее — непременно тоталитарное) приватизировали не только заводы — в этой борьбе отменили коллективное сознание, прежде всего приватизировав историю и религию. Приватизированная история — это и есть язычество. Приватизированная религия выразила себя через сотни сект; приватизированная духовность — это и есть абстракция. Всякий неверующий обыватель получил возможность на своей персональной жилплощади избежать детерминизма веры и непреложности заповедей: в его владении оказалась удобная, присвоенная по праву собственности приватизированная духовность. Приватизированная духовность явила себя через абстракцию; дух был трактован как абстракция, что нелепо. Дух есть наиболее определённое явление из всех возможных, поскольку не бывает духовности вообще. Однако именно так и захотели прочесть понятие «духовность» — как дым, как облако, как абстракцию. «Человек это не абстракция», — говорит доктор Риэ в романе А. Камю «Чума». К этому можно добавить: Бог — тем более. Однако формула личной свободы заставляла в Боге и человеке видеть абстракцию. Не строгий лик Спасителя, не вменённые правила, но абстрактную духовность, распечатанную для сотен частных пользователей, подобно акциям. Это своего рода индульгенции духовности, которые мещанин приобретает, чтобы его не заподозрили в материальном интересе. Вы полагаете, что я пекусь только о марже? Но вот, обратите внимание, я склонен к духовному. Никто и никогда не сумеет расшифровать это духов-

ное послание. Приватизированная духовность сделала сообщение Духа неразборчивым; было постулировано, что Дух говорит нечто своё каждому, и утверждены персональные права.

Квадрат Малевича, сменивший икону «Спас Ярое Око», — это не менее яростное сообщение, но бессодержательное; отныне иконография христианской цивилизации переписала иконостас. Современное изобразительное искусство не знает определённого высказывания — конкретные планы передоверили банкирам и генералам. Перед зрителем музеев открывается демонстрация витальной силы, стихии, явления, первичных элементов мироздания, как это характерно, например, для творчества Бойса. Это был сознательный шаг. То, что Хлебников однажды выразил строкой «Перун толкнул разгневанно Христа», то, что Малевич прокламировал в статье «Бог не скинут», то, что Клее определил как необходимость «вернуться от кроны дерева к его корням», воплотилось на уровне эстетического критерия, точнее, отменило все критерии.

Категориальное мышление в эстетике более не существует, поскольку нет общей категории прекрасного; красота более не определяет себя через благо, а общее благо отменили. Но в отсутствие общей категории появилось множество самодостаточных правд и автономных духовностей; так трейболизм веры изменил эстетику Запада.

Когда историк искусств, изучающий наследие XIX века, пытается говорить с куратором современной выставки, выясняется, что у них нет общего понятий-

ного словаря, словно эти люди занимаются разными дисциплинами. Изменений в эстетической парадигме ждали: на рубеже XIX-XX веков возникло ощущение тупика христианской цивилизации. О том, что старьё «сбросят с парохода современности» говорили все, но масштаб перемен вообразить было трудно.

VI

Словосочетание «исторический тупик» произносится столь часто, что утратило смысл; между тем понять, что такое «исторический тупик», легко именно сегодня. Сегодня, как и сто лет назад, жизнь общества подходит к тому рубежу, за которым моральные статуты ничего не значат; дидактика не соответствует практике. Так было и прежде: передел колоний, голод, пропасть между богатыми и бедными — всё это делает общественное воспитание нелепым. Невозможно преподавать юноше мораль, если выживать можно, лишь нарушая моральные заповеди. Общество потому является обществом, что объединяет граждан единой моралью и сообразно таковой растит смену поколений. Если обучение следующего поколения противоречит практике жизни, произносят фразу «исторический тупик». Когда в окопах под Верденом солдат спросил историка Марка Блока: «Неужели история нас обманула?» — солдат фиксировал исторический тупик. Когда мораль и правила финансового капитализма перестают объяснять мир и не гарантируют мира, это означает исторический тупик.

Что делать в тупике: реформировать христианство или произвести социальную революцию, то есть изменить ли характер обучения, подогнать мораль под требования реальности или изменить реальность применительно к идеалам обучения? Гораздо проще переписать учебник, нежели изменить мир. Однако, переписывая учебник, меняешь мир всё равно. Так, в ожидании Первой мировой прежде всего сменили эстетическую парадигму, то есть убрали из искусства дидактику и человеческий образ, и массовые убийства оказались вписаны в мир, где критерий индивидуального образа отсутствовал.

Принято говорить, что художники авангарда предчувствовали бойню и казарму; но, скорее всего, процесс смены эстетической парадигмы совпадает с общим характером перемен — пресловутый *Zeitgeist* меняет всех людей одновременно, и художников — так же, как генералов. Гораздо труднее не следовать зову Духа Времени, нежели подчиниться ему. О том, что это было не «предчувствие», но следование массовому ощущению, свидетельствует то обстоятельство, что Духу Времени подчинились практически все участники художественного процесса, тогда как предчувствие — явление сугубо индивидуальное. Тех, кто шел наперекор Духу Времени, были единицы.

Лавинообразное нарастание авангардной эстетики, её повальная победа сегодня, рекрутирование в авангард всех необученных рядовых — всё это доказывает, что мы имеем дело не с феноменом индивидуального предчувствия, но с тотальной программой.

Авангард лишь поначалу был группой маргиналов — он стремительно сделался массовым движением. Авангард лишь поначалу постулировал отказ от рынка — сегодня это неперемное условие торговли. Авангард лишь поначалу декларировал равенство и социализм — быстро выяснилось, что авангард именно за неравенство и выступает. Авангард притворялся функциональным, но авангардисты никогда ничего не строили, они занимались декорациями. Авангард представлялся гуманистическим искусством, но не было ни одного авангардиста, защищавшего отечество в войнах и помогавшего слабым. Авангард — это антигуманистическая деятельность. Авангард делал вид, что зовёт вперёд, но он всегда и повсюду звал только назад. Оказалось, что это жреческая, заклинательная деятельность — так учились приводить в движение миллионные толпы так в западном обществе возрождали языческую демократию.

Мы привыкли говорить, что авангардное мышление обновило эстетику. Однако чтобы осознать масштаб перемен, надо понять, что авангард XX века произвёл возврат к язычеству более последовательный и глубокий, нежели тот возврат, что был осуществлён в эпоху Ренессанса в XV веке.

Существенна здесь механика западной культуры: мы видим, что западная христианская цивилизация постоянно регенерирует, восстанавливает силы за счёт регулярного реверсного движения — сначала возвращаясь к языческим истокам, а затем делая новый шаг вперёд. И в этом отношении авангард XX-XXI

веков схож с Ренессансом XIII-XV веков; это возврат, осуществлённый по тому же типу. Однако дело в том, что невозможно знать, насколько глубоко окажется очередной возврат. Очевидно, что реверсное движение XV века было осуществлено в направлении Античности, и — коль скоро сама Античность некогда явилась питательной средой христианства — в этом смысле возвратное движение не вывело западную культуру за пределы христианской парадигмы; более того, это реверсное движение не только не отменило христианскую эстетику, но усложнило её, как бы воспроизвело причины её возникновения и объяснило её необходимость, привело к синтезу античности и христианства. Диалог античности и христианства, возникший в среде неоплатоников, стал результатом этого возвратного движения и преумножил богатство христианского образа. Синтез язычества и христианства в едином образе пророка (зримо явленный в творчестве Микеланджело или в личности Плотина) оказался возможен, поскольку античность сама оперирует антропоморфным образом, то есть существовал объект, в который дух мог воплотиться. Реверсное движение необходимо культуре: набравшись сил в почве, она снова становится духовной, укрепляет дух мышцами. Проблема в том, что этот возвратно-поступательный принцип движения культуры работает не всегда, он не универсален.

В античного атлета христианский дух сумел перейти, но существенно большие трудности возникнут при попытке воплотиться в черный квадрат, в газо-

вую горелку на пенисе, в предметы культа Озириса. Особенность современного нам «возрождения» состоит в том, что реверсное движение XX-XXI веков пошло вспять в большей степени, чем в эпоху Ренессанса. Это уже возврат в доантичное язычество, не антропоморфное и даже не египетское зооморфное, но в язычество праэлементов, в геоморфные мифы силы и власти, в такое язычество, которое само породить христианство не смогло бы. И оказалось, что синтеза с таким язычеством у христианской культуры быть уже не может.

Иными словами, возвратно-поступательный принцип отказал: горожанин уехал в отпуск в деревню, но, когда захотел вернуться домой, обнаружилось, что он забыл свой адрес. Цивилизация вернулась к язычеству, набралась сил, а снова стать христианской у неё не получилось.

Любопытно и другое. Допустим, на той глубине языческого сознания, до которой опустилось мышление западной изобразительной культуры, синтез с христианской эстетикой более невозможен. Но существует нормальный процесс взросления, который можно пройти заново. Всякая человеческая жизнь начинается с завязи, отчего бы не повторить весь опыт? Всякое сырое рано или поздно можно приготовить: ребенок сначала рисует неразборчиво и говорит невнятно, но постепенно, естественным образом, он переходит к внятной речи и к ясному изображению. Художники сознательно разучились рисовать, их ввергли в детство, но ведь дети учатся.

Почему бы художнику, который рисует полосы, не обучиться заново рисовать предметы? Если история вернула нас в дообразное состояние, во власть стигхий и элементов, если мы снова вернулись в пору молодости, то можно предположить, что опытным путём искусство претерпит ту же эволюцию, что уже состоялась однажды. Можно допустить, что, пресытившись спонтанным и элементарным, художники заново откроют перспективу, узнают про форму и т. д. Проходя этот путь вторично, проделают его быстрее, поскольку известны памятники искусства, есть история христианских образов. По образам, как по образцам и вехам (по маякам, если говорить языком Бодлера), можно добраться до того рубежа, с которого был произведён шаг назад, восстановить утраченное. Но естественного восстановительного процесса не происходит. В некоторых сказках взрослые люди обращаются в маленьких силой недоброго волшебства, но потом возвращаются в прежнее обличье. В нашем случае превращение взрослого в ребенка произошло навсегда. Сырое не будет приготовлено никогда, оно скорее протухнет. Так проживают долгий век мастера, проводящие полосы, ставящие точки и рисующие загогулины, — они умирают глубокими стариками, не сделав попытки заново восстановить некогда забытое умение рисовать. И это состояние неювенильности считается сегодня нормальным, поскольку именно силами нового неосмысленного дикарства облуживается мировой порядок демократии.

В современном мире существует класс посредников, своего рода жрецов, превращающих жест наивного дикаря в сакральное искусство, и жрецы заинтересованы в том, чтобы период не детства длился долго, всю отпущенную художнику жизнь. Иерархии, присущей перспективе и образной структуре, в новом искусстве более нет, однако появилась иная иерархия — старшинство жреца в бессловесном племени. Жрец держит племя в плену вечной ювенильности, заинтересованный в том, чтобы взросления более не происходило. Жрец объясняет дикарям, что их неумение суть выражение свободы, что это необходимое обществу неумение. Народы Африки удерживаются в дикости, но ничто не препятствует тому, чтобы лишние деньги, которые имеются у цивилизованной части планеты, вложить в развитие Африки. Если «взросления» Африки не происходит, надо признать, что дикость в данном регионе приветствуется. Так же и с искусством: если автор перформанса с газовой горелкой не изменил свой брутальный стиль за сорок лет, если прочие авторы продолжают привязывать к гениталиям предметы, следует допустить, что в культуре существует система отношений, сродни колониальной, которая сознательно удерживает художников в состоянии дикарей.

Самый тип творца поменялся. На смену ренессансному художнику, автору картин и учёному, пришел тот, кто сам есть часть произведения, сам — экспонент выставок. Современное искусство не создаёт образов ещё и потому, что дикарь в руках жреца пре-

вращается в предмет культа. Его протест против цивилизации организован самой цивилизацией; за его ручное дикарство ему полагается плата, и дикарь знает, что его услуги востребованы не диким обществом, но прогрессивным. Современный дикарь выращен как гусь; для получения от него печёнки салонное дикарство культивируют, причём сравнение с гусём потому важно, что «дикарь», как и гусь, обречён. Судьба дикаря печальна — он становится заложником нездорового образа жизни, навязанного колониальной администрацией, но таковы условия этнографического творчества: во благо метрополии-цивилизации художник приговорён быть вечно молодым туземцем, приговорён быть дегенератом. Именно дегенеративные качества новой эстетики — залог успешного управления языческой империей.

В этом смысле можно говорить о том, что так называемое «дегенеративное искусство» взяло, наконец, реванш у античной парадигмы.

VII

В 1937 году в Берлине была организована выставка «Дегенеративное искусство», на которой были собраны произведения, осуждённые нацистами. Принято называть это собрание авангардным искусством, но это не имеет отношения к авангарду. Слово «авангард» вообще используется произвольно: русским авангардом называют и трепетного Шагала, и квадратно-гнездового Малевича, что нелепо. Наци-

сты проводили иную классификацию. Прежде всего, нацисты сами себя считали «авангардом». Картины на выставке «дегенеративного искусства» объединяло то, что человеческий образ был трактован уничтожительно (по мнению идеологов Третьего Рейха). То есть упрёк, вменённый авторам экспонатов, состоял в том, что они как раз не авангардисты, потому что не создают «нового человека». В данном случае термин «дегенерат» употреблялся как антоним термина «авангардист».

Идеология Третьего Рейха была героической, и при известных спекуляциях её можно трактовать как возврат к античной эстетике, с обязательным культом здорового тела. Вообще мысль о цели истории, воплощённой в героическом образе, — распространённая идея, не принадлежащая только лишь Геббельсу. Представление о прекрасном человеке как о вершине искусства было подробно исследовано в трудах «Анализ красоты» Хоггарта и «Лаокоон» Лессинга, в трактатах Дюрера и Леонардо. Последние содержали указания о пропорциях, оптимальных для человеческого тела, и их дотошность в измерениях превосходила Ломброзо и антропологические версии нацистов. Речь у нацистов шла всё о том же, необходимом для цивилизации усилии — о попытке омолодить западную цивилизацию через здоровый языческий дух. Нацисты не опускались столь глубоко к корням, как то делали Клее или Бойс, — они желали сохранить античность, очистить её от христианства, только и всего. Согласно нацистской идеологии (впрочем, этого же мнения

придерживался и Ницше, например) дряхлость цивилизации обусловлена тем, что античное начало редуцировано в христианстве. Нацисты, собственно, собирались повторить попытку ренессанса, но избежать ошибки синтеза с христианством; это должен был быть контрренессанс. Неловко признавать этот факт, но во имя античной гармонии, свободной от христианства, и устроили суд на «дегенеративным» искусством. Имелось в виду то, что осуждённые картины унижают представление о человеке, и это движение вспять от развития поколений и назвали словом «дегенеративное».

Здесь существенно то, что и авторы, которых нацисты сочли дегенератами, и сами нацисты христианскую эстетику осуждали. И те и другие декларировали возврат к языческому, просто возврат представляли себе по-разному. И те и другие мечтали о том, чтобы омолодить цивилизацию, но и молодость они видели по-разному. Декларации по поводу «праха культуры Запада, который следует отряхнуть с ног своих» звучали постоянно, большинство художников увлекалось примитивизмом и шаманизмом, страсть к этническому творчеству диких народов была повальной, а признание главенства «подсознательного» над сознанием было само собой разумеющимся. Как ни странно, но художники столь открыто звали назад к дикости, что обвинение их в «дегенератизме» не стало вопиюще неточным. И до Гитлера многие (Гегель, например) осуждали уничтожение человеческого образа. Но так решительно применить термин «дегенеративное искус-

ство» никто не решался. Нацисты потерпели поражение — произведения «дегенеративного искусства» выстояли и, в конце концов, доказали свою пригодность новой эстетике. Всё дело в том, что новая эстетика отказалась от античного начала — правы оказались те, кто решил идти дальше.

Движение прочь от антропоморфного образа в новейшей эстетике Запада связано с современным состоянием управляемой демократии: мы декларируем личные права, но не хотим видеть личность, эти права воплощающую.

Тиранический этап новейшей истории был выражен в образах, которые мы не любим за плакатность. Однако это были образы, в том числе образцы для подражания. Победа над героической эстетикой нацистов спровоцировала героический же ответ. Появились образы героев, которые стоят в истории культуры Запада памятниками: «Человек с ягненком» Пикассо или «Гибель Роттердама» Цадкина, Девочка из «Герники», доктор Риэ из «Чумы», герои Роберта Джордана, герои Брехта и Белля, Камю и Пикассо, Джакометти и Хемингуэя, Солженицына и Шаламова, Сартра и Шостаковича. Они обладают прямым позвоночником и открытым лицом... Европейский экзистенциализм явил античные образцы доблести.

Закончилось это довольно быстро — лет за десять европейский гуманизм нового разлива себя исчерпал. Насмешкой над героическим стал персонаж Френсиса Бэкона, растёкшийся по холсту. Так «приготовленное» стало опять «сырым».

Наступила очередная пора реверсного движения, которую назвали постмодернизмом, — пора иконоборческого творчества. Неодегенеративное искусство пошло дальше дегенеративного искусства XX века.

Неодегенеративное искусство отвергает не просто мораль буржуа, но всякое морализирование в принципе, отвергает всякое обучение. Процесс обучения неизбежно приведёт к подробному узнаванию мира, к усложнению перспективы и появлению образа, но именно этого цивилизации и следует опасаться. Искусство существует и в просветительской, и в охранительной функции, а в языческих обществах охранительная функция делается основной. Отсутствие человеческого образа предполагает отсутствие морали в искусстве — мораль отдана жрецам, контрапункт вынесен из произведения вовне; спросите мастеров, чему они служат, и ответ прозвучит незамедлительно: «свободе»; но не спрашивайте их, что такое свобода.

Искусство перестало воплощать идею, оно не имеет плоти, и всё сказанное выше подводит нас к простой истине: последний век существования западной цивилизации зафиксировал изменение критериев красоты.

VIII

Сандро Боттичелли однажды повторил картину Апеллеса (так, как эту картину описал Лукиан, ибо картина Апеллеса не сохранилась) и создал великую метафору суда над христианской парадигмой в нашем

мире. Картина Боттичелли называется *Calunnia* — Клевета. На картине представлен суд над прекрасной женщиной. Судья с ослиными ушами читает обвинительное заключение, лжесвидетели шепчут чванному уроду в длинные уши, а нагая женщина перед лицом трибунала тщетно доказывает свою невиновность. Женщина символизирует оболганную Истину, и она же, как это понимали неоплатоники, является Красотой.

Этот повтор древнегреческой композиции лишь подтверждает закономерность трагедии христианства; в античном мире о неправом суде над истиной и благом знали всегда, отстоять истину хотели всегда, но процесс этот проигрышный. Христианство обучило истину побеждать, «смертию смерть поправ», но вразумить судью с ослиными ушами невозможно. Мы не верим в конкретный суд времени, но мы верим в конечное торжество гармонии, потому что нашим потомкам и истории останется логика красоты, воплощающей истинное измерение мира. Гармония, тождественная благу, находит себе место в самых трагических и горьких холстах Пикассо, Ван Гога, Мантеньи и Гойи; именно этот последний рубеж — воплощать меру вещей, согласно определению Гегеля, — гармония не отдаст никогда. Всё скверно, но сама структура образа, самый принцип соотношений и пропорций, сама сила слов и крик красок оказывается тем бастионом, который не будет взят никогда. На картине Гойи «Расстрел 3 мая 1808 года» изображена беспросветная сплошная гибель восстания и — одновремен-

но — яростная победа. Миллионы верующих носят на груди крест, изображающий пытку и смертную муку, и этот же крест символизирует для них победу над смертью. Катарсис, как его описал Аристотель, может повернуть трагедию в великий урок и триумф истины.

Всё вышесказанное звучит обнадеживающе. Принцип трагедии и катарсиса, а с ним вместе и сила гармонии, безусловно, непобедимы, однако победа возможна лишь до тех пор, пока существует трагедия.

Принцип трагедии действует лишь в том случае, если существует субъект трагедии. Если страдающего субъекта, наделённого душой, не существует, то трагедии нет; массовые убийства могут происходить, но бойня не обернётся трагедией — катарсис и понимание не наступят никогда; стадо режут, но горе не приносит овцам моральной победы. Наши будни с исключительной достоверностью показывают, что можно быть свидетелем массовых зверств, но свидетель не становится ни умнее, ни добрее. Более того, в большинстве случаев свидетель принимает сторону убийц, если убийства варваров подтверждают его собственный социальный статус. Воспитанное в погоне за привилегиями, холуйское языческое общество примет любое массовое убийство как ритуальную жертву, оно будет бороться за право выжить, но никогда не будет отстаивать прав сострадать.

Стараниями языческой демократии создана такая эстетика, которая исключает трагедию и нивелирует личность, поскольку личность состоит из других

людей, из универсальных знаний, из категориальных положений. Отменили не доктринёрство — отменили мораль; утвердили не свободу от догмы — утвердили свободу от гармонии. Это крайне удобно для управления жадной корпорацией, но бесперспективно для общежития. То, что метаморфозы западного общества были произведены при помощи художественного авангарда, — всего лишь историческая коллизия; то, что понятие свободы было использовано для утверждения зависимости, — обычная демократическая практика. То, что безобразное, недегенеративное искусство стимулирует угнетение, очевидно. Но есть и менее очевидные вещи.

Существование трагедии, а затем и существование критериев красоты ставят перед нами вопрос: может ли катарсис появиться в условиях отсутствия антропоморфного образа? Или иначе: если антропоморфный образ — суть христианской религии воплощения духа, то может ли отступление от христианской парадигмы сохранить гармонию мира в целом? Или совсем просто: что такое христианская цивилизация без христианского искусства и зачем она?

Максим Кантор

Конец партийности и сословная демократия

Идея взглянуть под новым углом на принципы политического представительства возникла в 1989 году, когда я наблюдал за ходом Съезда народных депутатов СССР. Именно тогда в России впервые были проведены альтернативные и достаточно свободные выборы высшего органа власти.

Как и большинство критически мыслящих людей, я в то время считал, что советская партийная система не просто устарела, но вообще не годится для политической жизни, поскольку монополизировала власть в руках одной силы. А это ведёт к несменяемости власти и исчезновению политической конкуренции, тогда как в сопредельных странах, в Европе и США существует — и мы все хорошо это знаем — эффективно работающая многопартийная демократия. Там дела в политике идут нормально. Интересы разных общественных групп представлены и учтены в «коридорах власти», как любил говорить Михаил Горбачёв.

Это была теория. Потом наступило время практического опыта многопартийности, который сочетался у меня с моим личным опытом — как гражданина и избирателя — и профессиональным — как политического аналитика.

А наблюдать за происходящим становилось год от года интереснее. Были времена, когда партии создавались легко, и времена, когда делать это стало сложнее из-за возникших административных барьеров.

При этом качество «партийности» оставалось одним и тем же — низким.

Спустя какое-то время можно было сделать первые выводы, и они были неутешительны.

Постепенно выяснилось, что зарубежные многопартийные демократии оказались не такими, какими мы их себе представляли, а в России многопартийность и вовсе не складывается. При наблюдении за электоральными циклами то и дело возникала мысль (в то время ещё непривычная), что концепция многопартийности либо неработоспособна на данном этапе развития европейской цивилизации, либо неэффективна именно в России.

Рассмотрим первый тезис. Мы видели уже в конце 1980-х и видим сейчас, что на Западе многопартийность вырождается или упрощается до двухпартийности. В США двухпартийная система официально признана, хотя партий в принципе можно создавать сколько угодно. Республиканцы и демократы — это, по сути, представители двух фракций внутри единого правящего класса Америки. И весь электорат мобилизуется на очередные выборы под ту или иную фракцию. Возникает ощущение, что фракции между собой решают, кто на каких выборах победит.

В Великобритании двухпартийность вообще освящена традицией: это вечная борьба консерваторов и лейбористов, хотя партий опять-таки может быть сколько угодно, и в последнее время возникает даже некая «третья сила», которая как будто стремится составить конкуренцию классическим тори и вигам. Во

Франции, Германии, Италии — странах с очевидно развитой многопартийной системой — тоже наблюдаются определённые метаморфозы. В этих странах происходит кардинальное упрощение формулы многопартийности путём создания новых партий на основе старых (так часто бывает в Италии) или создания блоков и коалиций (ФРГ). Если активно действующих партий несколько, они блокируются: примером здесь может служить хорошо известный немецкий блок ХДС-ХСС. За реальную власть в парламенте всё равно борются две политические силы. Иными словами, опыт Запада показывал, что в политике де-юре всё ещё провозглашается многопартийность, но де-факто складывается двухпартийность.

Теперь посмотрим с этой точки зрения на Россию. Что я увидел как избиратель после всех выборов, в которых принимал участие? Первый и главный вывод: на этих выборах не было *ни одной* партии, которая бы действительно отражала мои интересы. Притом что интересы эти не связаны с каким-то конкретным мелким делом: я довольно широко смотрю на жизнь страны. По идее я должен был встретить партию, которая соответствует моим представлениям. Но её нет.

Возникает вопрос: как же мне в таком случае голосовать? К проблеме можно подойти по-разному. Лично я голосую на думских выборах согласно простому принципу: за оппозиционную партию (то есть не за партию власти), которая является, на мой взгляд, максимально конструктивной. Причины для такого

выбора следующие. Уж за партию власти, понятное дело, будет отобилизовано достаточно голосов, она и без меня победит. К тому же позиция партии власти меня в целом никогда не удовлетворяла. Мне важно, чтобы в высших эшелонах присутствовала альтернативная сила.

При этом я понимаю, что реальную возможность победить имеют только те, кто обладает соответствующими ресурсами — административным, финансовым и медийным. Большинство партий ими не располагают, какие бы идеи они ни выдвигали. Таким образом, я рассматривал выборы как спор партии власти и её наиболее серьёзного конкурента.

Что получалось в итоге? Получалось, что в итоге я при голосовании все-таки опираюсь на *фактическую двухпартийность*.

Возникает и другой вопрос: каких, собственно, участников наших парламентских забегов можно с чистым сердцем назвать словом «партия», в настоящем смысле этого слова? Судя по всему, партия у нас только одна: КПРФ. Хороша она или плоха — другой вопрос. Но я вижу у этой партии идеологию, которая закреплена исторически. Я вижу партийного лидера, который чётко излагает свои взгляды. Я хорошо знаю, к чему эта партия зовёт, не важно, нравится мне это или нет. О других партиях я ничего подобного сказать не могу. Где-то есть лидер, но нет внятной программы, где-то есть замечательная программа, но у партии нет шансов победить, поскольку за ней нет никого кроме авторов, написавших такой замечательный текст.

Сколько Кремль ни пытался создать силу, противостоящую КПРФ, ничего не получалось. Анатолий Чубайс неоднократно объявлял о том, что последний гвоздь в крышку гроба коммунизма наконец-то забит. А КПРФ всё живёт, потому что максимально близка к институту партии, и попытки свалить её не дают никакого результата. Тогда как любую другую партию можно разрушить в течение нескольких минут, в том числе и партию власти.

Представим себе, что завтра Владимир Путин скажет в эфире: «Я из “Единой России” выхожу, потому что это никакая не партия, а так, непонятная структура, бессмысленная и бесполезная». Информангентства заполнят этой новостью всё свободное пространство. А через день после президентского заявления попробуйте провести выборы и посмотрите, сколько голосов получит «Единая Россия» при всех тех ресурсах, которыми обладает. Но если один человек может сказать несколько фраз, и после этого партия исчезает с политической арены — извините, о какой партийной системе можно говорить?

Иными словами, мы имели и имеем одну оппозиционную партию — КПРФ. И одну правящую квази-партию — «Единую Россию», которая уже много раз меняла своё название, но самое лучшее из этих названий — «партия власти», поскольку оно точно отражает её суть. Её идеология остается прежней: сохранение власти определённой группой лиц при полной неясности относительно того, какой должна быть Россия

в будущем (если не считать общих слов: «великая», «процветающая» и т. п.).

Казалось бы, почему бы обывателю не взять, да и не предпочесть всему этому структурное разнообразие, то есть многопартийность? Но это опять же в теории. На практике в сознании обывателя сохраняется травмирующее воспоминание о том, как при Горбачёве возникла многопартийность, но разрушилась страна. Отсюда закономерный вопрос: зачем нам система, которая разрушает страну? Лучше пусть будет однопартийность, а страна сохранится. Так рассуждает обыватель. Именно поэтому он не думает о партийных программах, а поддерживает тех, кто выступает за максимальную стабильность, по принципу «как бы хуже не стало».

Разница между двумя электоратами заключается в том, что одни видят стабильность в прошлом, другие — в настоящем. Но и у тех и у других нет времени заниматься анализом партийных программ и поведения лидеров на теледебатах. Как они будут голосовать? Конечно, за одну из «стабильных» партий, а это и есть партия власти и партия оппозиции, то есть коммунистическая.

Теоретически возможна ситуация, когда избиратели находят партию, и эта партия отражает их интересы как представителей социальной группы или сословия. Например, когда-то существовала «Аграрная партия России» и даже присутствовала в Госдуме, потом слилась с коммунистами, потом развелась с ними. В конце концов, партия куда-то исчезла.

Это, конечно, абсурдная ситуация. У нас в стране гигантское аграрное население — 30 или 40 млн крестьян и фермеров. Казалось бы, аграрии должны присутствовать в Думе постоянно, но почему-то этого не происходит. Сельские избиратели голосуют либо за коммунистов, либо за партию власти.

Вряд ли такая система отличается особым демократизмом, и её трудно назвать подлинно представительной. А на выходе мы имеем одно из двух: либо наша партийная система такова, что партия, названная аграрной, не отражает интересы соответствующего сословия, либо избиратели не видят смысла в её существовании и не хотят поддерживать своими членскими взносами.

Ещё пример. Кто до сих пор представлял интересы детей-сирот? Они одиночки, и в этой жизни для них главное не выбрать партийную программу, а, повзрослев, создать семью, чтобы избавиться от статуса сироты, который может остаться в силе до конца жизни. Какая партия представляет интересы детей-сирот сегодня — КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия»? Никакая. Это неудивительно. У меня, например, были родители, была полноценная семья, и я тоже не могу влезть в их шкуру. А вот курия опекаемых и поднадзорных будет представлять их интересы.

Если смотреть на вопрос непредвзято, трудно поверить в то, что партийный лидер одной из двух или трех партий-победительниц чувствует одновременно интересы и детей-сирот, и фермеров, и олигархов. Этого просто не может быть. Этот лидер так или

иначе будет привлекать в партию экспертов, представляющих все перечисленные слои населения. Эти эксперты наняты на самом деле теми же социально-профессиональными группами, но с одним важным уточнением: наняты они в основном теми группами и сословиями, у кого больше денег, собственности и власти. Эти ангажированные эксперты составляют программы и для детей-сирот. Но сами дети-сироты не в состоянии найти экспертов, которые повлияют на программу нашего условного партийного лидера.

Позвольте спросить: где здесь демократия, и что нам в этом случае даёт многопартийность?

Сомнительный принцип представительства привёл не только к условности партийного разделения, но и к полной *виртуализации* политического процесса. Вспомним, как партийные деятели перебегают из одной партии в другую, вступают в беспринципные блоки по понятным только им основаниям. Люди, которые ещё вчера были коммунистами, сегодня стали антикоммунистами. Закономерен вопрос: кто же вы на самом деле и за что выступаете? Проблема в том, что ответа на этот вопрос быть не может.

А чтобы такой вопрос лишний раз не возникал, принято использовать специальный термин, который якобы всё объясняет, и говорить о партийном «ребрендинге».

Само понятие абсурдно. Хороший пример этой абсурдности — история таких политиков, как Владимир Рыжков. Когда-то он был заместителем руководителя партии «Наш дом — Россия», то есть партии власти.

А теперь он жёсткий оппозиционер. При этом взгляды Рыжкова, которые он излагает в лекциях и выступлениях, не менялись. Не менялась и власть: странной управляет та же политическая сила, но под новым названием — не «Наш дом — Россия», а «Единая Россия». Чем «Единая Россия» отличается от партии «Наш дом — Россия» в плане идеологии? Ничем. Тогда непонятно, почему раньше у Владимира Рыжкова не было проблем с властью, а теперь он ходит на митинги оппозиции. Возможно, всё дело в статусе: когда ты в руководстве партии, ты лоялист, как только вышел из него — уже оппозиционер. А если посмотреть, как эти «партии» голосуют, как ими манипулируют хозяева властного ресурса, картина станет ещё интереснее.

Подобные издержки партийного парламентаризма мы наблюдаем постоянно. Публицисты в данном случае используют выражение «политические спекуляции», но на самом деле это не метафора. Это выражение можно понимать вполне буквально. Смена политических брендов и спекуляция политическими идеями напоминает финансовые спекуляции в экономике. В экономике надуваются финансовые пузыри, не обеспеченные товарной массой, и в конце концов лопаются, обрушивая рынок и ударяя по реальному сектору экономики. Экономика стагнирует, а в это время правительство усердно «спасает» банки, то есть накачивает их деньгами, фактически изъятыми у населения при помощи инфляции.

Таков процесс виртуализации экономики. Похожим образом происходит виртуализация политики.

Политические программы играют роль финансовых пузырей и «пустых» ценных бумаг. Так называемый партийный ребрендинг напоминает выпуск акций-деривативов. Рано или поздно неизбежен политический коллапс и скатывание либо к хаосу, либо к жёсткому диктату.

Сегодня мы наблюдаем глубокий *кризис партийного представительства*. Многопартийная демократия не действует. Новые идейные платформы не возникают. Наполнить теоретическую конструкцию многопартийности нечем. И это при наличии сетевых возможностей, которых не было в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Площадка есть, свобода есть, а больше ничего нет. Причина очевидна: система себя исчерпала.

Причём на Западе система устарела прежде, чем начала работать в России. Но поскольку в последние годы Европа и Америка развивались в экономическом плане достаточно стабильно, им трудно отказаться от внешних проявлений партийной борьбы вот так сразу. Это кажется крайне неудобным и политически не вполне приличным.

Россия находится в несколько ином положении. У нас традиции партийной демократии не устарели — их просто-напросто не успели создать. И, похоже, есть большие проблемы с их возникновением. Все мы знаем и о разгоне первой дореволюционной Думы и о расстреле парламента в 1993-м...

У меня возникает вопрос: *а зачем навязывать в России то, что уже перестало работать в За-*

падной Европе и вскоре станет достоянием истории? Просто из уважения к традициям? Но у нас тут не музей, а набор проблем, которые ждут решения. И мы, наверное, хотим идти в ногу с историей, а не плестись в хвосте мировых событий. Тем не менее политическая жизнь не может прекратиться. И поскольку принцип многопартийности со всей очевидностью вступил в период отмирания, необходимо создавать что-то взамен. Но что именно?

Вернёмся к простейшей аксиоме: парламент — это место для дискуссий и борьбы мнений. Поэтому в нём должны быть представлены альтернативные точки зрения, разные платформы. Сторонники этих точек зрения собираются не только для того, чтобы спорить, иначе это был бы клуб или Гайд-парк. Их дело — представлять интересы различных групп граждан, а не просто упражняться в риторике.

Необходима реальная, а не словесная конкуренция политических идей и лидеров. И такую конкуренцию вполне можно обеспечить на внепартийной основе. Но как именно должен строиться такой внепартийный парламент?

Чтобы ответить на этот вопрос, на минуту оглянемся назад, на исторические условия возникновения многопартийности. Это нужно для того, чтобы понимать, от чего и с какой целью мы отказываемся.

Как бы ни хотелось верить в альтруизм, не он движет историей. И многопартийные избирательные системы возникли не потому, что аристократия однажды решила отказаться от власти в пользу на-

рода. Нет, избирательное право завоёвывалось и распространялось постепенно, сверху вниз, от более узкого круга людей ко все более широкому. Партийные системы сложились тогда, когда избирательным правом обладали самые знатные и обеспеченные. Потом помимо аристократии правящий класс стал включать в себя кого-то ещё, но не всех. А вот исходные принципы партийной организации почти не менялись и автоматически наложились на всех избирателей страны.

Вполне очевидно, что партии, сформированные на основе узкого идеологического разделения бывших элит, не могут учитывать интересы всех граждан. Не могут именно потому, что рождались как отражение интересов обеспеченных слоёв. Кризис многопартийности связан именно с этим разрывом между потребностями большинства и устареванием партийного (в основе аристократического) разделения политических позиций.

Если мы ставим целью обеспечить реальное народное представительство и всеобщее участие в политической жизни, необходимо изменить эту систему. Современному парламентаризму надо опираться на реальные политические интересы основных сил общества. Что это за основные силы? А это и есть те самые многочисленные социальные слои, из которых состоит общество, как апельсин из долек. И они должны иметь во власти реальных представителей, а не делать бессмысленные ставки на забеги политических «игроков», с которыми их ничто не связывает.

Реальная демократия — это не игра в политическую рулетку.

Рассмотрим простейшую модель: у нас в обществе есть мужчины и женщины — значит, теоретически могла бы существовать партия мужчин и партия женщин. Мужчины голосуют за мужчин, женщины за женщин, складываются парламентские фракции... Но это слишком примитивная и бедная схема. Мы всё-таки живём не при первобытнообщинном строе, когда одни поддерживают горение очага, а другие ходят добывать мясо. У нас общество более сложное.

Но некоторое — не столь кардинальное — упрощение народного представительства в конечном счёте всё-таки неизбежно. Поэтому наша задача разделить общественных представителей на некоторое количество фракций (курий). Но сделать это нужно так, чтобы их оказалось не 100 или 200, а на порядок меньше. При этом надо не потерять все значимые слои или общественные страты.

По каким признакам это должно быть сделано? Полагаю, что их несколько.

Во-первых, владение собственностью как источником дохода: либо ты собственник, либо наёмный работник. Этот принцип знаком нам по советской школе, но он не единственный. Ещё один критерий связан с тем, занимаешься ли ты интеллектуальным или физическим трудом. Например, есть медийное сословие, которое практически всю жизнь занимается тем, что изготавливает информацию и отправляет её в разные точки. От этих людей многое зависит. Если

они исчезнут, мир не будет знать, что ему делать: информационные потоки прекратятся. Другой пример. Если крестьяне перестанут пахать землю — не важно, собственными руками или новейшими комбайнами, мир умрёт от голода. И так далее.

Иными словами, существуют большие профессиональные группы, или сословия, занятые тем или иным важным для всех остальных видом деятельности.

Все беспокоятся о своём здоровье, а кто лучше всех знает нужды организма? Врачебно-медицинское сословие. Не менее важным является преподавательское и научное сословия, ведь наука — это производительная сила, если говорить языком Маркса.

Наконец, существует духовное сословие, которое определяет, сохраняет и поддерживает моральные нормы. Кто кроме них может представлять интересы людей, озабоченных нравственностью? Пятеро писателей, нравственных в своих книгах, но не всегда нравственных в жизни? Сомнительно. Это может делать лишь духовное сословие, которое существовало тысячелетиями и с этой задачей вполне справлялось. Нравится это кому-то или нет, но данную функцию выполняли и продолжают выполнять традиционные религии. Врачи заботятся о физическом здоровье, учителя — об умственно-интеллектуальном, священники — о морально-нравственном и духовном.

Военное сословие, разумеется, тоже крайне важно для России. Управленческий класс... С одной стороны, мы знаем, насколько он эгоистичен и погружён в коррупцию. С другой стороны, это сословие, кото-

рое умеет управлять обществом. Хороший управленец вполне может быть негодяем и аморальным типом. Но при этом он знает, как привести 100 хороших людей к нужной цели так, чтобы они не поругались по дороге.

Мысленно разделяя общество на профессиональные сословия, мы неизбежно придём к выводу, что их оптимальное число составляет где-то от 12 до 15. Представители этих сословий и должны вместо партий составить в парламенте курии, выбранные по профессиональному признаку.

Вполне очевидно, что мои интересы будет отражать лишь одна определённая курия, с которой я связан профессией и образом жизни.

Но все мы учились в советской школе, поэтому есть соблазн применить к сословно-профессиональному делению классовый принцип. Не скажу, что этого нельзя делать. Можно, но результат мы получим весьма и весьма приблизительный.

Карл Маркс выбрал критерий, который в его время казался принципиальным, — отношение к собственности. Либо ты сам владеешь чем-то, либо ты наёмный работник и продаёшь свой труд. Сегодня всё намного сложнее. Что, если наёмный работник обладает акциями «Газпрома»? Или возьмём студентов: у одних богатые родители, у других бедные, но и те и другие не работают, а учатся, причём в одном вузе, и имеют похожие карьерные перспективы после его окончания. У этих студентов есть общий классовый интерес? А общий сословный и профессиональный?

Классовая модель — лишь один из видов сословной модели, а сословная — один из вариантов профессиональной, и это соотношение общего и частного надо учитывать.

Уже сейчас можно предвидеть ряд вопросов, которые неизбежно возникнут по ходу дела. Например: как выбирать? Если ты крестьянин, значит должен голосовать только за крестьян и не имеешь права голосовать за хорошего учёного?

Принцип следующий. Голосующее сословие или профессиональная группа не обязаны выбирать людей только своего сословия. Если фермерам кажется, что олигарху или программисту, который изобрёл Facebook, близки интересы фермеров, — это их право. Они формируют список своей курии и могут включить туда хоть космонавта, хоть экстрасенса. В конечном счёте важно лишь то, что они сделают это по собственной воле, и так же легко смогут переиграть получившийся расклад.

Где в этом случае будет альтернативность и политическая конкуренция? Они никуда не денутся. Но процесс политической борьбы будет происходить не между куриями (теми, что придут на смену партиям), а внутри каждой из них. Грубо говоря, это похоже на то, как проходят праймериз у демократов и республиканцев — это выборы «среди своих».

Или такой вопрос: как быть с избирателем, который работает в СМИ, но живёт в деревне, днём возделывает землю, а по ночам разрабатывает компьютерные технологии? Такой человек должен сам

добровольно отнести себя к какой-то профессиональной категории. Выбрать один вариант из нескольких возможных.

Наконец, как должно быть организовано голосование? Чтобы обеспечить выборы по новым правилам, потребуется гигантская реформа, которая отменит привычные принципы формирования списков и посещения пунктов для голосования.

Коренное отличие новой системы от прежней в том, что количество представительных групп будет строго определённым, а не плавающим. Размежевание, слияние и поглощение, а также ребрендинги и прочие гримасы партийной политики будут исключены. *Прямое социально-профессиональное представительство станет реальным народным представительством*, а не добровольно-принудительным «делегированием полномочий» непонятным лицам. Таким образом, буквально все значимые слои общества вплоть до детей-сирот будут учтены и представлены на высшем политическом уровне.

О двух- и однопартийности можно будет забыть.

Теперь можно сделать главный, но вполне очевидный вывод. *Сословно-профессиональный принцип* способствует выполнению парламентом своего прямого назначения — представлять интересы реальных категорий населения.

Термин «сословность» может показаться несколько архаичным, но это ложное впечатление. Слово «демократия» известно вообще с античных времён, однако никто не считает это недостатком. Но в последние

20-30 лет демократия по вине «многопартийности» превратилась в ругательное слово. И очень жаль: демократия достойна куда лучшей участи — как в политике, так и в речевом употреблении.

Впереди самое сложное. Необходимо преобразовать принцип сословно-профессионального представительства в технологическую модель. Но такая разработка требует ряда специальных исследований, и их результаты, конечно, станут предметом далеко не одной статьи.

Виталий Третьяков

Нравственность как точная наука

(Прологомены к проблеме построения
нравственного государства)

Со школьной скамьи мы слышали: «Государство — это аппарат насилия». В том, что всякое государство следует принципу силы, сходились и сходятся многие историки, политики и авторы учебников. Правда, кое в чём их концепции различаются. Например, с либеральной точки зрения государство стоит на страже общества свободной конкуренции, в котором якобы достигнуто равновесие. И защищает оно это равновесие от изгоев, отщепенцев, революционеров, террористов и прочих деструктивных сил. С точки зрения левой мысли государство либо стремится к отмиранию, либо является орудием, которое трудящиеся унаследовали от «проклятого» буржуазного прошлого и должны применить для защиты своих завоеваний. Такое государство защищает не свободную конкуренцию или классовое «равновесие», но справедливое распределение благ. Так же как в прошлом оно защищало несправедливый порядок. Иными словами, каков принцип распределения, таким будет и государство. Консервативные и монархические теории видели в государстве охранителя традиций, но каких именно — отдельный вопрос. Что до теократии (например, в современном Иране), то здесь религиозная структура просто берёт на себя часть государственных функций или служит влиятельным совещательным органом.

Но какого бы политического направления ни придерживались эксперты, они почти всегда разделяют одну простую мысль: государство призвано решать сиюминутные исторические проблемы с помощью силы. Оно всегда «на подхвате» у истории. А потому обречено быть временщиком и впадать в моральный релятивизм, потакая интересам господствующих исторических субъектов: династий, сословий, классов, финансовых групп, политических «элит».

Во всех этих концепциях категория нравственности и категория порядка (стабильности) применительно к государству лежат параллельно друг другу и совершенно не пересекаются. Отсюда расхожие языковые штампы: «государство — аппарат насилия», «политика — грязное дело».

Насколько же нравственные требования применимы к государству в принципе?

II

Конечно, уровень нравственности власти не постоянен в разные периоды истории. Он представляет собой кривую, которая колеблется иногда даже на протяжении одного периода правления. Например, и в Западной Европе, и в России были монархи, удостоившиеся всенародного почитания. Во Франции это Людовик IX Святой, а у нас — крестивший Русь князь Владимир Святой, уже канонизированный, и продолжатель его дела Иван III, которого в будущем ждет канонизация. С другой стороны, были правите-

ли, например, тираны эпохи Возрождения, вызывавшие коллективное осуждение. Это английский король Генрих VIII и наш Иван Грозный.

Вообще-то всякий правитель может менять моральные установки, пересматривать свои прежние решения — нравственный поиск для него не закрыт. Скажем, опричнина, на которую Иван Грозный в какой-то момент сделал ставку, впоследствии была им же самым отвергнута, и он под страхом наказания запретил даже упоминать про «опричнину» и «кромешников». Правление Ивана IV началось с плодотворной работы (период Избранной Рады), в его поведении время от времени отмечались периоды искренней набожности, но в конечном счёте в характере и поступках монарха взяли верх тиранические и человеконенавистнические тенденции.

Между тем в самом обществе нравственные оценки власти не всегда однозначны. Например, Петр I после окончания периода его правления превозносился правящим классом, официальными историками и западниками, но вызывал отторжение в народе и в кругах славянофильской интеллигенции. По поводу отдельных фигур советской эпохи спор в российском обществе идет до сих пор, и консенсус по-прежнему не достигнут, а во Франции аналогичным образом обстоит дело с эпохой Французской революции. Эти парадоксы и колебания в нравственных оценках весьма примечательны. Они явно нарастают в XX и XXI веках по мере временного ослабления в обществе традиционных ценностей и распространения реляти-

вистских установок (отличительная черта эпохи пост-модерна).

Не столь очевидна, но так же важна другая закономерность. Как бы ни вели себя правители, как бы ни воспринимал их народ, государство само по себе не становилось нравственнее. Отдельные государственные деятели, участники социально-политического процесса, могли менять государство к лучшему «через себя», свое личное присутствие. Но стоило этим монархам и политикам сойти с исторической дистанции — их усилия шли прахом, происходил срыв. Движение к нравственному государству останавливалось, и жизнь общества снова входила в накатанную колею.

Иногда сразу после окончания «нравственного» исторического отрезка общество падало в какую-то бездну порока, а затем появлялся усмиритель вроде Савонаролы, который подвел черту под эпохой Лоренцо Медичи (Великолепного), в течение которой тон в обществе задавали денежные мешки. Но так называемое усмирение не было оздоровлением государства, ведь диктатура имеет столь же мало общего с нравственностью, как анархия и разврат. И эти качели постоянно раскачивались.

III

Проблема заключалась в том, что над самим государством не было той инстанции или института, которые позволили бы ему поддерживать необходимый уровень нравственности. Именно поэтому никакие

индивидуальные усилия, никакие классовые и социальные движения не вели к искомой цели, даже если видели свою миссию в утверждении какой-нибудь общественной морали, например социалистической, или если стремились превратить страну в «сосуд истинной веры», как предполагалось в период действия концепции «Москва — Третий Рим». Будучи достигнутым на короткий момент, нравственный уровень государства и общества не мог поддерживаться сам по себе. В конце концов, уже и само государство теряло способность к регенерации и двигалось к катастрофе — через постоянные смены режимов, смуты, интервенции, гражданские противостояния.

Впрочем, эта моральная деградация могла происходить и без резких потрясений — нечто подобное мы, собственно, и наблюдаем сегодня. Власти и институты стремительно теряют легитимность. Но происходит это не по причине всепроникающей коррупции и попрания законов. Как ни странно, зависимость здесь, скорее, обратная. Нарушение правовых и моральных норм стало всеобщим как раз по причине утраты властью легитимности. Фемида и рада бы изменить ситуацию, но уже не в состоянии это сделать.

Проблема легитимности не может быть разрешена судебно-правовым путём. Наоборот, само понятие права стало настолько всеобъемлющим, а юридизация всех сфер жизни настолько заметна невооружённым глазом, что становится очевидна истина, скрывающаяся за этим фасадом. Избыток формальной закон-

ности призван замаскировать хронический недостаток легитимности властных институтов.

Из всего вышеизложенного следует еще один вывод. Государству мало «хороших» правителей или «правильной» идеологии, как мало незыблемых правовых норм и эффективной судебной системы — это, скорее, производные от какого-то другого условия. И это условие лежит на поверхности: государство должно быть нравственным само по себе. А для этого над ним должна быть инстанция, которая поддерживала бы это нравственное состояние — так же, как, например, министерство финансов поддерживает экономическое благополучие страны.

Разумеется, прямые аналогии здесь не вполне уместны. «Министерства правды» (по Оруэллу) или «министерства совести» в государстве быть не может: таковые неизбежно вырождаются в свою противоположность, обслуживая интересы государства.

Вообще моральные вопросы ставятся и разрешаются иначе, нежели вопросы, связанные, например, с материальными благами. Одно из отличий заключается в следующем. В экономике и политике правительство может позволить себе пойти на эксперимент, например, использовать партийную борьбу и политическую конкуренцию для выработки наилучших решений. Этот метод редко себя оправдывает в моменты кризисов, глубоких реформ и мобилизационных рывков, но в периоды стабильного и спокойного развития бывает эффективен. В последнем случае политику можно сравнить с экспериментальными методами в науке.

Но наряду с экспериментальными в науке существуют точные методы и аксиоматика. Без постулатов не может быть никаких гипотез. Только в государстве за сферу точных знаний отвечает не математика, а нравственность. В компьютере эту функцию выполняет антивирусная программа. А каким образом можно провести моральную настройку государственного механизма так, чтобы государство стало нравственным?

Уже сложился круг ученых — историков, социологов, философов, — которые разрабатывают проблемы нравственного государства, видя в нём историческую неизбежность. С. Сулакшин в статье «На пороге нравственного государства» говорит о стадийности в развитии государства: протогосударство (насилие), правовое государство 1-го типа (насилие, традиция), правовое государство 2-го типа (право), социальное государство (перераспределение), нравственное государство (институт нравственности).

С. Сулакшин пишет: «Человечество в мегахременных координатах идёт к светлому “образу и подобию”, а вовсе не к тому пониманию идеала, которое навязывается нам в обществе потребления и в социал-дарвинистской парадигме неолиберализма... Человечество прошло этап правового и социального государства. Сегодня мы стоим на пороге нравственного государства. Этот этап неизбежен в эволюционном будущем человечества. И чем раньше мы в России это поймём, чем более настойчиво это будет предлагаться мировому дискурсу, тем быстрее человечество сможет прийти к этому состоянию». (См.: Сулакшин С. С. На

пороге нравственного государства // www.rusrand.ru/text/Nravstv_gosud.pdf.)

Мы не уверены в том, что социальное и нравственное государство есть результат исторической эволюции (в обществе прогресс сменяется регрессом, и сейчас мы явно находимся в регрессивной фазе, да и как, например, охарактеризовать отход от социальных гарантий в России — как откат?), но в целом готовы поддержать и разделить указанный взгляд на проблему.

Однако самое типичное возражение, которое встречает идея нравственного государства со стороны её оппонентов, направлено против самой постановки вопроса: мол, Царства Бога на земле не бывает, это искушение. Но ведь речь идёт о создании более приемлемого социально-этического устройства, а не о глобальном просветлении человечества или построении идеального общества. Это очевидно. Куда труднее ответить на другой вопрос: что же всё-таки надо сделать, чтобы поместить государственную политику в строгие этические рамки?

Обо всём по порядку.

IV

Первое. Необходимо с самого начала чётко разделить целеполагание и техническое воплощение проекта. Нерешённость отдельных технических вопросов не избавляет нас от необходимости действовать, хотя бы методом проб и ошибок. Практика — критерий теории, а не наоборот.

Возьмём для примера современные конституции. Ведь нормы, записанные в них, не содержат в себе готового рецепта их исполнения. Тем не менее они накладывают на членов общества обязательства: каждый должен стремиться эти нормы исполнять. С нравственностью, которая, между прочим, является более значимым Законом, чем любая конституция, примерно та же история.

Второе. Идея нравственного государства не должна казаться экзотической, как бы непривычно ни выглядел сам термин. Наряду с понятиями «социальное государство», «правовое государство» и т. п. понятие «государство нравственное» занимает законное место в проблемном поле общественных наук. И хотя слово «нравственный» обозначает некий семантический абсолют (нельзя быть более или менее нравственным), нас это не должно смущать. Ведь нравственное государство — не философский камень или чудодейственная формула, которая сразу приведёт к успеху. Да, нравственность абсолютна, она задаёт незыблемый вектор в принятии решений, но чтобы соответствовать желаемому, государство должно пройти через некоторый коррекционный период. Правовым или социальным государством тоже не может стать с первой попытки. Поэтому и в нашем случае неизбежны временные трудности. Но если мы хотим иметь здоровое общество, необходимо активное поступательное движение к намеченной цели.

Третье. Подобно органам конституционного надзора, может и должен существовать орган, который

бы следил за соответствием государственных решений нравственным нормам. Простой пример. Демократия не наступает в результате одного лишь внутреннего желания одного или нескольких человек. Демократ вынужден создать или вступить в уже имеющийся демократический институт — парламент. Это и будет институциональным подкреплением идеи демократии и личных усилий того или иного субъекта. Так же обстоит дело и с нравственностью. Проблема, однако, в том, что институционального подкрепления нравственного государства в новейшей истории не было. Между тем нравственное государство должно быть контролируемо инстанцией, которая вполне официально вводит в политику и общественную жизнь нравственное измерение, организует и формализует этот процесс.

В работах некоторых политологов, занимающихся в настоящее время проблемой нравственного государства, уже заметна тенденция к тому, чтобы расширить исходное понятие и рассматривать новый институт как одну из ветвей власти — наряду с законодательной, исполнительной и судебной. Но это сорная терминология. Важно подчеркнуть, что новая инстанция должна возвышаться над тремя уже существующими, которые надлежит контролировать с позиций нравственности, так что у неё есть все основания быть стволom при этих трех ветвях. Гораздо правильнее было бы определить эту инстанцию как надгосударственную, сберегающую нравственную суть государства. И назвать её следовало бы властью блюстительной. По крайней мере, такое название восходит к кон-

цепции Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН), поставившего этот вопрос ещё полвека назад. В начале 1960-х члены ВСХСОН выдвинули эту идею в условиях СССР, что само по себе кажется почти невероятным. Ведь одно дело рассуждать о нравственном государстве в эпоху морального релятивизма, которая властно подталкивает к подобным выводам, и совсем иное — прийти к этой идее в жёстком интеллектуальном пространстве советской идеологии, в стране вполне идеократической, но живущей по нормам, мало совместимым с традиционной нравственностью народа.

Отличительная черта нового, бюстительного института должна состоять в том, что он не должен принимать собственные решения и законы, но должен недвусмысленно оценивать решения власти всех уровней. И, разумеется, обладать правом вето по отношению к любой властной инициативе с условием, что вето может быть наложено только и исключительно по нравственным основаниям. Он должен следить за соответствием новых законов и их исполнения нравственным критериям; ставить рамки властным функциям, проектам и управлению; вписывать их в нравственную парадигму.

Четвёртое. Возникает вопрос: не может ли взять на себя роль бюстительного органа церковь или совет церквей? Ведь церковные институты изначально обладают моральным авторитетом, а свои действия они согласуют с евангельскими принципами, то есть являются носителями дефиниций в рамках корневой

и доминирующей морально-этической парадигмы западного мира. Священники, разумеется, должны входить в орган блюстительной власти, более того, без их участия сама идея нравственного государства вряд ли может воплотиться. И учитывать православную специфику России в этом случае, безусловно, необходимо. Тем не менее блюстительный орган не может быть одновременно и церковным. Просто потому, что церковь — хотя и очень большая, но все же лишь часть общества.

О нравственном государстве нередко вспоминают, когда речь идет о симфонии власти и церкви в Византии, но симфония и нравственное государство — не одно и то же. В симфонии мы имеем лишь государство и церковь, следующих параллельными курсами. Однако в своё время Ф. М. Достоевский очень чётко обозначил грани между церковью и государством: не церковь должна стать государством, как у католиков, а государство «должно сподобиться стать» церковью.

С другой стороны, возможно формирование «блюстительной власти» по сословному принципу, как это было с философами в платоновском «Государстве». В любом случае речь здесь должна идти не только о церкви. С самого начала следовало бы избежать ситуации, когда нравственно-блюстительный орган сужается до носителей идеологии какой-то одной общественной группы или нескольких групп, пусть даже речь идёт об очень популярных в обществе убеждениях. Членами нравственно-блюстительного института вообще не должны быть представители тех или иных

идеологий. Ими могут стать носители нравственного начала в глазах большинства. То есть люди, пользующиеся неоспоримым моральным авторитетом, каких бы идеологий они ни придерживались и сколь бы идейно стратифицированным ни было общество.

Нравственность вместо идеологии — именно в этом и заключается главная идея. Если это условие будет выполнено, то «партийных» споров вокруг нового института не возникнет, как их не возникает в ситуации с судом присяжных или советами старейшин.

V

До сих пор политологи и философы предпочитали решать другие задачи. Их усилия были направлены на то, чтобы уравновесить интересы людей и социальных слоёв между собой, либо наоборот — изменить существующее равновесие или существующий порядок. Это подход количественный, а не качественный. Решение задачи построения нравственного государства навсегда сняло бы первую задачу (достижение социального равновесия или изменение его в сторону более справедливого), поскольку сделало бы невозможными социальные конфликты.

Но при этом было бы неправильно пытаться расписать пошаговый алгоритм того, как технически может быть создан блюстительный орган. Создание нравственного института в государстве само по себе есть проявление нравственности. На данный момент мы имеем слабую попытку создать нечто подоб-

ное для масс-медиа — Совет по общественному телевидению. Но даже в этом локальном случае мы находимся лишь в самом начале пути, можно сказать, нащупываем почву. Поэтому любые точные рецепты были бы несостоятельны.

Объясним лишь, откуда у нас уверенность в том, что органу бюстительной власти будут подчиняться и что при его создании не произойдёт общественный раскол. Для этого вначале ответим вопросом на вопрос: а почему Конституция по умолчанию принимается всеми, независимо от политических взглядов, и не становится причиной гражданской войны? Напротив, худо-бедно примиряет интересы. Вряд ли Конституция — документ идеологически стерильный, и все одинаково согласны с позициями, которые она выражает. Ведь в стране никогда не устраивали плебисцита по каждой её статье, и мало кто может эти статьи процитировать. Тем не менее Конституция всех устраивает. Конституцию соглашаются выполнять, поскольку она РАЗУМНА И ПОЛЕЗНА для общества. Решения бюстительного органа также будут иметь силу закона по причине того, что они ПРАВДИВНЫ, и это также способствует сохранению здоровья общества.

Другое дело, что нормы Конституции исполняются плохо. И с бюстительной властью ситуация вряд ли будет безоблачной. Но умение следовать её выводам — задача, которая не может быть решена за один месяц, даже за одно десятилетие. Просто общество в этом случае будет исходить из аксиомы первичности нравственности, а не экономики, политики и геополитики.

VI

Примечательно, что возможность появления нравственного государства гораздо лучше понимали его идейные противники, чем потенциальные сторонники. Например, Карл Поппер, на идеи которого опиралась вся либеральная критика марксизма, в знаменитой книге «Открытое общество и его враги» предвидел вероятность развития идеи нравственного государства, стрелы которого направлены отнюдь не только против советской модели. Вообще Поппер предпочитал рассматривать традицию советского авторитаризма в контексте развития идей идеального государства, явленных, в частности, в платоновской (трактат «Государство») и гегельянской традициях. Борьба с этим направлением мысли для Поппера важнее, чем банальный и сам по себе объяснимый и оправданный антикоммунизм. Утопия марксизма, по мнению Поппера, есть продолжение идеи платоновского государства. Это при том, что Платон в своей модели опирался на управляющую функцию аристократии, а Маркс — на активность трудящихся низов. Но дело в том, что и там и там в основе государства лежат пусть разные, однако нравственные критерии. И там и там нравственность — краеугольный камень, и устанавливается (задается) она по правилам точных, а не естественных наук. В её основе лежит не эмпирический эксперимент в либеральном духе (публичная конкуренция партий и капиталов), а абсолютный критерий.

Но в вопросах нравственности и не может быть «экспериментального поля». Нельзя ставить опыты над моралью. За чем, собственно, и должна следить блюстительная власть. Предвидя саму возможность появления идеи блюстительной власти, Карл Поппер критиковал её заранее, наносил превентивный удар, чтобы вытоптать саму мысль о государстве как нравственном авторитете. Философ выбрал верную стратегию. Он позаботился о том, чтобы «нравственное» направление государственной мысли в сознании читателя было накрепко сцеплено с советским коммунизмом и сразу же связывалось с преступлениями коммунистического режима. Таким образом, сама постановка вопроса о нравственном государстве была табуирована в сознании западной аудитории. Мол, коммунизм — это всего лишь новейшее воплощение старой утопии, не более. Но мы утверждаем: ничего подобного. Коммунизм плох, а идея нравственного государства прекрасна. Наша задача — расцепить два разных понятия, слившихся воедино благодаря усилиям неолиберальных пропагандистов.

VII

Мы исходим из того, что нравственность — не продукт того или иного режима. Это нечто врождённое. Признание данного факта позволяет подойти к решению многих сложных проблем. Например, если собрать 25-30 человек, не алкоголиков и не экстремистов, а самых средних обывателей, то независимо от их полити-

ческих пристрастий и взглядов они придут к одному и тому же выводу: нельзя показывать порнографический фильм 8-летнему ребёнку. Почему они это понимают? Потому что обладают врождённой нравственностью.

Такое единодушие загадочно лишь на первый взгляд. Но на самом деле ничего удивительного в нём нет. Ведь расхожее понятие «душа-христианка» — не просто метафора, а указание на особую психологическую реальность. К ней-то и призывает проповедник, стремясь разбудить в нас «всё самое лучшее» и уже в эту благодатную почву заронить Слово Божье. Только тогда оно даст хорошие всходы. Его призыв направлен к тому, что **УЖЕ ЕСТЬ** внутри нас.

Вообще научиться — отчасти значит «вспомнить». Концепция «врождённого знания» оформилась ещё в учении Платона. Там она получила название Анамнесиса («знания-воспоминания»). В Средневековье и в Новое время философы говорили о «врождённых идеях». Сегодня эти установки по-прежнему востребованы в гуманитарных науках, например в генеративной лингвистике («врождённая грамматика» Н. Хомского) и в теории онтогенеза. Лингвисты и психологи знают, что в первые годы жизни ребёнок произносит словоформы, ошибочные по современным меркам, но соответствующие древним языковым нормам (в контексте русского языка, например, «уколоть» вместо «уколоть», «квиток» вместо «цветок», «теля» вместо «телёнок» и т. п.).

Было бы странно, если бы глубинная память человека хранила древние нормы языка, но не хранила

нормы нравственные. Нравственность не только результат рационального выбора, она имеет корни и в бессознательном. Более того, нравственный инстинкт играет в жизни человека огромную роль. Он нередко просыпается в ситуациях ответственных решений. Например, когда общество решает вопрос о собственной жизни и смерти. В этом случае верующие и неверующие приходят к одним и тем же решениям.

Нравственность ответственна за самосохранение — как человека, так и целого народа. Нормальные взрослые люди прекрасно знают, что порнофильм разрушает психику ребёнка и его физическое здоровье. Поэтому следует импульсивная реакция отторжения. Она естественна. Точно так же рецепторы кожи позволяют отдернуть руку от кипятка и сохранить здоровье.

Итак, врождённое нравственное чувство существует. К нему и будет апеллировать бюлостительная власть.

Разговор о том, как и когда эта власть появится, — впереди. Соображения, которые мы имеем сегодня, — не какая-то идеальная конструкция, а рабочая теория. Но уже ясна точка приложения усилий. К тому же другого направления движения у общества нет. Прежний курс неизбежно ведёт к нарастанию энтропии, в результате которого социальная система пойдёт вразнос. Создание бюлостительного государственного органа неизбежно. Тогда распад затормозится. Или общество рухнет и начнётся пресловутая война всех против всех, после которой придёт новый вождь

и принесёт новый закон. Этот закон будет по-своему эффективен, но нравственного в нём будет мало.

Когда же общество будет готово к принятию идеи нравственного государства? Тогда, когда наберётся критическая масса людей, готовых быть нравственными хотя бы для того, чтобы избежать социального взрыва. Когда в государство будет вживлён нравственный критерий, изменится и нынешнее социально-политическое устройство, хотя заранее нельзя предсказать, в какую сторону и как. Но общество, безусловно, станет гораздо более справедливым, чем сегодня.

Мы должны понимать, что идея нравственного государства — отнюдь не дань национально-патриотическим комплексам. Она касается всего мирового сообщества. Без нравственного преобразования современное государство не выйдёт из тупика, в котором оказалось. Задача России — принять этот тренд и предложить его остальному миру. В этом случае мы займём лидирующие позиции в процессе неизбежного исторического перехода к новому типу государства. Будем не ведомыми, а ведущими. Разве мы этого не хотим?

Игорь Потапов

Смерть интеллигенции

В последние годы о судьбах российской интеллигенции говорят всё реже и реже. Интеллигенция умерла как сословие: социальное расслоение не обошло её стороной. Место интеллигенции занимают яппи и креативные менеджеры, лишённые коллективных моральных рефлексий. Почему же мыслящее сообщество безмолвствует? Мне кажется, что уже можно уверенно ответить на этот вопрос. Судя по всему, неподходящий момент для этого разговора не только сейчас. Это навсегда. Общественный ландшафт изменился настолько, что интеллигенция как социальное единство распалась и перестала играть какую-либо роль в общественных процессах.

О смерти интеллигенции дискутировали давно и много, но всё это были, что называется, субъективно-оценочные мнения отдельных людей. В плохих прогнозах недостатка не ощущалось. Но сегодня мы имеем совершенно иную ситуацию. Перед нами довольно достоверный критерий, позволяющий констатировать смерть с медицинской точностью, — отсутствие общественного интереса. Тема остыла, достигла нулевого градуса. Сам предмет спора — архаичное явление. Он не включен в повестку дня.

Постсоветская либерализация большевизма запустила процесс расслоения интеллигенции. Еще при Б. Ельцине этот советский монолит начал трагически

распадаться на взвесь и осадок. Отдельные представители бывшего мыслящего сословия стали статусными и гламурными, остальные слились с массой бюджетников, презираемых «реальными» представителями новорусской эпохи. Те, кого власть взяла на службу, предали в беде тех, кто остался за бортом рыночных преобразований.

О советской интеллигенции стоит поговорить особо. Провозглашая себя оппозицией советской власти устами наиболее привилегированных своих представителей, она и не подозревала, что рубит сук, на котором сидит. Да, советская власть давила идеологией и репрессиями, но интеллигенция, иногда ручная, иногда фрондирующая, была ей нужна. Режиссёры, писатели, актёры считались украшением государственного здания, чем-то вроде химер на соборах. С ними носились, их обхаживали. А вот в условиях диктатуры рынка нет никакой необходимости в существовании этой чудаковатой прослойки, которая вечно спасает мировую культуру и хочет просвещать массы. Зачем она нужна? «Миркульт», «духовка», «культурка» — всё это лежит сегодня запечатанное в аляповатые пластиковые коробочки.

Дело в том, что этот самый «миркульт» — трудноусваиваемая для мозгов постсоветского обывателя пицца. А просвещать его, как при старом советском режиме, сегодня некому. Наоборот, образовательный стандарт сокращают, общество оглушают реформой образования, подгоняют остатки знаний под тесты ЕГЭ. При этом бывшие интеллигенты зачастую ис-

крenne аплодируют. Но, несмотря на все прежние и нынешние овации новому режиму, интеллигенции пришлось сойти с исторической сцены.

Новое общество, которое строится сегодня, — это общество сырьевых магнатов, клерков и мойщиков окон. Разумеется, интеллигенции в нём нет места. Культур- и политехнологи пока ещё нужны — им поручено обслуживать власть, но речь при этом идёт отнюдь не о классе и не о сословии, а о весьма небольшой группе людей, которые знают друг друга по именам и составляют маленькую секту.

Взглянем на прошлое интеллигентского сословия. Неслучайно оно не даёт покоя нынешним соцтехнологам, ищущим с фонарем и собаками «новых интеллигентов». Ведь многие из этих энтузиастов сами «родом» из бывшей советской интеллигенции. Бывшая интеллигенция решила заняться собой? Похоже, что так. Или, говоря философским языком, перешла в режим самоописания. А значит, к традиционным вопросам интеллигента — «Что делать?», «Кто виноват?», «С кем вы, мастера культуры?» и «Куда мы катимся?» — пришло время добавить ещё один, главный: «Что же такое интеллигенция?»

Мессианизм. Интеллигенция появилась в условиях бюрократического государства и сразу стала прослойкой так называемых «лишних людей». Она не была готова служить самодержавной власти, но и идти на сближение с народом не хотела. Точнее, народники попытались повернуть в сторону народа, но 1905 год многих отрезвил.

В вечном выпадении интеллигенции из общества и состоит её сущность. Это «нигилизм без веры», как было замечено авторами сборника «Вехи». Интеллигенция в основном варилась в соку собственных идей, а точнее — превратно понятых достижений европейских интеллектуалов. И торговалась с властью: «Власть, дай порулить, за это мы будем верно служить». Интеллигенция пыталась учить и власть, и народ цивилизованному «жизтью», указывала, каким должно быть, по её мнению, «современное общество» — тон разговора, абсолютно невыносимый для европейца. Интеллигенты не хотели быть управляемыми, но желали управлять сами. Неслучайно у интеллигенции наряду с общепринятыми были свои любимые культурные ценности. Как заметил кто-то из историков, у советской интеллигенции была своя религия — братья Стругацкие, своя идеология — А. Сахаров, любимые книжки — И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров, А. Рыбаков, любимый театр — «Таганка».

Невостребованный мессианизм интеллигенции ещё больше отдалял её и от власти, и от народа. Так продолжалось до 1917 года, когда интеллигенция наконец-то порулила — на короткое время сама став властью, пока её не подвинул рабоче-крестьянский кадровый призыв. Но это интеллигенцию ничему не научило. Снова начались муки фальшивой оппозиционности. Вековая смесь преданности власти и мнимого фрондёрства — явление предельно выморочное. Неудивительно, что их коллективная идентичность держалась не на социаль-

ной роли, а на системе мифов, самую интеллигенцией выдуманных.

Миф об оппозиционности. Торг с властью есть главная профессия интеллигенции. Она никогда не была оппозицией по-настоящему, но хотела быть при власти и иметь преимущественное право наставлять общество. Например, за право быть критиками власти при власти боролись в советское время «шестидесятники» и получили своё. Власти в то время понадобились «оппозиционеры». В такие периоды всё происходило в рамках консенсуса: интеллигенция всегда колебалась вместе с генеральной линией. Каждый такой медовый месяц с властью интеллигенция называла «оттепелью», а его прекращение — «заморозками».

Дело в том, что без опоры на власть функция самопровозглашённого общественного наставника невозможна: никто не станет слушать. Именно поэтому интеллигенция втайне очень любит власть. Сия любовь является важным условием её выживания. Это и есть главная тайна интеллигентского сословия.

Впрочем, иногда представители сословия «проговаривались», как это сделал однажды Михаил Гершензон, заявивший после выхода сборника «Вехи»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех козней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной».

За эту фразу его заклевали. Гершензон вынужден был уйти из либерального «Вестника Европы». Но

заклевали именно потому, что Гершензон случайно брякнул правду. Отношения в треугольнике «власть — интеллигенция — народ» полностью исчерпываются его формулой.

Миф о просветительстве. Интеллигенция чаще всего представляет себя сословием просветителей в дикой, отсталой азиатской стране. Говорили о просвещении народа, но фактически претендовали на роль нового дворянства. Особый статус — право «пасти народы», — по мнению вождей интеллигенции, должен был быть им обеспечен властью исключительно за их культурно-образовательный ценз. Чистейшее мессианство. Попутно заметим, что конечной целью введения ЕГЭ, платного среднего образования и сокращения вузов как раз и является выведение народа за рамки этого ценза.

Миф о свободе. Свобода не для всех, а только для себя — это уже не свобода, а привилегия. Именно так понимала свободу интеллигенция. «Права и свободы», а вернее привилегии, которых они требовали от власти, были, по сути, аналогом законов о вольности дворянства.

Допустим, у меньшей части интеллигенции после 1991 года появилось право печататься и говорить с телеэкрана. А в чём же тогда свобода остальных — свобода большинства, которое не издают и не пускают на телевидение? Это интеллигенцию отнюдь не волновало. Вот историческая аналогия, проясняющая дело.

Сюжет первый. После выхода указа о вольности дворянства крестьяне решили, что теперь

должен быть указ о вольности крестьянства. Ходили слухи о том, что в южных губерниях уже дают вольную и дарят землю. Но время шло, указа всё не было. Крестьяне стали бунтовать, примкнули к казацкому восстанию Пугачёва. И заплатили за это жизнью.

Сюжет второй. После негласного указа о вольности интеллигенции в перестройку народ решил, что будет и указ о вольности народа. Поверил в перестройку, поддержал новую власть — Б. Ельцина и его команду, признал переворот 1991 года. Но на место ЦК пришла либеральная номенклатура, которая присвоила собственность КПСС и уничтожила индустрию. Протесты были подавлены войсками в 1993 году, а сами волнения объявлены сговором коммунистов и нацистов. Интеллигенция в 1993 году шумно поддержала власть, написав знаменитое позорное «Письмо 42-х» с пламенным призывом «Господин президент, раздавите гадину!» (Б. Ахмадулина, Д. Гранин, А. Дементьев, В. Астафьев, Д. Лихачёв, Б. Окуджава, Р. Рождественский и др.). Делиться свободой интеллигенция не захотела.

Вообще, интеллигенция по своей природе предельно авторитарна. Называя себя «культурной прослойкой», «приличными» людьми, она любит вводить критерии пригодности: какие люди «рукопожатны», а какие — нет. Неслучайно большевики — интеллигенты в квадрате. Весь авторитаризм большевиков вышел из интеллигентской традиции — из идеи о цивилизаторской деятельности в отсталой стране.

В начале «нулевых» в Москве был открыт памятник интеллигенции. Выглядит он так: Пегас парит над абстрактной композицией из стальных шипов. Обычно памятники ставят либо посмертно, либо за особый статус при жизни. Этот памятник «самой себе» — то, строительством чего российская интеллигенция занималась на протяжении всей своей истории. Сегодня в этом памятнике явлены оба качества российской интеллигенции. Во-первых, она потерпела историческое поражение и умерла. Во-вторых, комплекс избранности, мессианизм интеллигенции и есть её памятник самой себе.

Смерть интеллигенции закономерна. Она не выдержала экзамен ни на интеллектуальную пригодность, ни на нравственную зрелость, ни даже на верность самой себе.

В начале 90-х годов интеллигенция перестала быть единым вольнолюбивым сословием, которое в СССР слонялось «между НИИ и царством Свободы». В «рыночных» условиях произошло окончательное расслоение и размежевание интеллигенции. Большая её часть — нестатусные интеллигенты — была названа новой властью бюджетниками, приравнена к люмпенам и превращена в отбросы общества. В подавляющем большинстве бывшая прослойка советских образованцев направилась по трем направлениям: в эмиграцию, в челноки и в запой. Порвалась цепь времён. Меньшая часть — статусная интеллигенция — пошла на службу к власти и начала прославлять новый порядок. Ни те ни другие даже не задумались о свободе, о которой они так много рассуждали во время оно.

Так откуда же взяться новой интеллигенции сейчас? Кто и для чего её придумывает и создаёт?

II

В последние годы о судьбах российской интеллигенции говорят всё реже и реже. Общественный ландшафт изменился настолько, что интеллигенция как социальное единство распалась и перестала играть какую-либо роль в общественных процессах. Её место занимают яппи и креативные менеджеры, лишённые коллективных моральных рефлексий. Судя по всему, это навсегда.

Вообще-то явление нового человека — знакомая тема для тех, кто родился и жил в СССР. Но советские идеологи склонны были объяснять этот процесс строго научно. А современные знатоки коллективных душ рождение нового сословия объяснили по всем правилам космогонического мифа: мол, всё происходит из ничего. Кем же господа новые интеллигенты были раньше? А никем. Это люди, морально преобразившиеся на волне «снежных» протестов и передвижных «майданов». Просто моральное начало в них раньше дремало. Но случилась Болотная, случился проспект Сахарова — и оно проснулось. Вот почему они могут теперь носить гордое звание интеллигента. Не поверите, но списки «ударников» морального преобразования тут же составили и опубликовали на сайте «Московских новостей» в разделе «Мы вас представляем». Кого

там только нет: рестораторы, владельцы прачечных, общественники...

Новая интеллигенция, если принять во внимание обстоятельства её рождения, культурный уровень и социальные амбиции, похожа не столько на интеллигенцию старую, сколько на пролетариат. Во-первых, ближайшая задача новых интеллигентов, как когда-то «гегемона» — политически просветить и увлечь обывателя, привести его на митинг. Во-вторых, их объединяет искусственность происхождения.

Когда-то «красная» власть наделала «гегемонов» из бывших крестьян, отлучив их от земли и согнав в города. Интеллигентам сегодня тем более неоткуда взяться. Ведь старая интеллигенция — «лишние люди», энтузиасты из «НИИ ЧАВО» — сегодня уничтожены как класс и массово не воспроизводятся. Вся надежда на виртуальные технологии. На создание медийного образа.

М. А. Булгаков не случайно облёк советский социальный эксперимент по получению Шариковых в медицинскую метафору. Что-то в этом роде затеяли, судя по всему, с нью-интеллигенцией. Но поскольку на дворе не военный коммунизм, а денежный феодализм, то и гегемон у нас соответствующий. В основном это тот самый офисный планктон. Сейчас на дворе «модернизация» (нано, твиттер, большая труба). Нынешние соцтехнологи не озаботились даже такой малостью, как придумывание для новейшей офисной генерации моральных принципов. Они просто присвоили менеджерам, а заодно хипстерам и прочей соцфауне титул «интеллигентов». А чтобы не слишком

бросалось в глаза несоответствие, добавили эпитет: «новые». И точка.

Кто-то когда-то назвал нацизм идеологией лавочников. Сегодняшний социал-дарвинизм — это идеология менеджеров, специалистов по подсчёту чужих денег, чужих идей и чужих продуктов труда. А также тех — и они куда многочисленнее, — кто хотел бы походить на них. Менеджеров по духу, а не по букве. Тех, кто разделяет эту идеологию, во много раз больше, чем самого «офисного планктона». Недаром вся экономика услуг работает на этот стандарт. PR-агентства, дистрибьюторы, девелоперы, провайдеры, рестораторы, банкиры, мерчандайзеры, дизайнеры, юристы, эксперты и проч.

Большая часть прессы и телевидения, все заметные «контенты» обслуживают «менеджеров». Еженедельники и «интеллектуальный глянец» — для менеджера. Просто глянец и женские журналы, фитнес, спа — для супруги менеджера. Подростковое чтение, гаджеты, шоу-бизнес — для его детей. Плюс сериалы из жизни подобных особей, «стильные» кафе, магазины образа жизни. А также «умная беллетристика» в лице Б. Акунина, Л. Улицкой и прочих. С вечным «интеллектуальным» сюсюканьем и ободряющим похлопыванием по плечу: молодец, читатель, не забыл основы школьной программы.

Вот такой набор. А ведь настоящий планктон — это менее 10% населения страны. Но многие всё равно едят, читают, смотрят всё то же самое. Когда меньшинство талантливо прикидывается большин-

ством, это и есть гегемония. «Новая интеллигенция» идёт тем же самым путем — точнее, её ведут.

Манагер сказал — манагер сделал. К «офисным» пришили гипофиз — моральные императивы старой интеллигенции, чтобы получить на выходе нечто облагороженное. Для простоты им объяснили, что мораль и нравственность — это когда у нас на выборах мухлюют, а они выходят на площадь и требуют прекратить безобразия, млея от своей гражданской сознательности. Это делает их лидерами общества, избранными людьми, уполномоченными давать всему моральные оценки.

Либеральный публицист Александр Архангельский откровенен: «Как ни удивительно, но впервые в русской истории зарабатывать денег и общественное служение перестали быть двумя вещами несовместными. Кем был раньше русский, да и советский интеллигент? Он не умел обращаться с деньгами, презирал тех, кто умел их зарабатывать. Старый интеллигент служил бескорыстно, то есть бесплатно. Сейчас всё иначе. Новые интеллигенты очень часто оказываются в бизнесе» (Архангельский А. Для новой интеллигенции нет понятия «народ». Интервью в «Московских новостях» // www.mn.ru/society_civil/20120328/314418212.html). Это ключевая фраза. Капитаны бизнеса и сегодня присутствует в списках нью-интеллигентов, вывешенных «Московскими новостями».

Разумеется, это элементарная подмена, перевёртыш. Ведь можно было начать с другого конца и сказать: бизнес у нас нынче пошел интеллигентный и

морально ответственный. Готов строить детдома, давать на храмы, на социалку. Но за такие заявления в лучшем случае сразу засмеют. Всем известно, что делают с нашей социалкой «юргенсы» и «кудрины» и для чего в России благотворительность. Кстати, ещё в начале «нулевых» писательница Татьяна Толстая вполне серьёзно объявила конкурсу на прозу, где бы героем был «бизнесмен с человеческим лицом». То есть с социальной ответственностью. И сборник рассказов с такими «лицами», кажется, был опубликован. Почти одновременно с историями о добрых и справедливых милиционерах.

Создатели новой прослойки переворачивают проблему на 180 градусов, как шахматную доску. Какие такие олигархи? Нет, просто этот парень, ну этот, новый интеллигент... ответственный такой. Он вообще-то ещё и бизнесом занимается... Да кто бы сомневался.

III

Без моральной риторики рождение нового гегемона не обошлось. От его провозвестников то и дело приходится слышать, что, мол, власть очень цинична и развращает общество. Но в обществе, где господствует самодержавие денег, цинизм пронизывает все сословия. Циничен бизнес — потому и намерен одеваться в шкуру интеллигенции. Цинична гуманитарная прослойка, выдумывающая нью-интеллигентов и выдувающая из своей дудочки красивые социальные фантомы. Общество, которое не чувствует себя на-

цией, обречено на цинизм. Рассуждения в духе академика Д. Лихачёва об экологии души и т. п. сегодня могут вызвать только смех.

К счастью, у нас есть опыт 90-х. И обмануть нас снова будет не так просто. Сегодня никто не пойдёт в библиотеку за «Новым миром» в поисках поводов для размышлений и руководства к действию. И не станет слушать вождей «новой интеллигенции». Сейчас эти вожди много говорят о политической ответственности. Мы помним, как они толкали власть к кровавой расправе в 93-м, навязывали стране номенклатурный передел собственности. Сегодня они научились ругать власть, будучи при власти. Определяя её курс и устами министров требуя срочно уменьшить количество образованных людей в стране. Как точно заметил кто-то из левых лидеров, совершенно очевидно, что те, кто выступал в качестве лидеров протеста, были по отношению к протесту такими же точно узурпаторами, как, с их точки зрения, власть была по отношению к обществу в целом. И даже, может быть, в большей степени, потому что поддержка власти в обществе всё равно была выше, чем поддержка оппозиционных лидеров среди их же собственных сторонников. Именно так это и называется. Обыкновенный цинизм.

Но это всё по части морали. А как обстоит дело с идеологией?

Это вопрос куда более конкретный, а главное — насущный. Ведь чтобы «рассерженный горожанин» легко вжился в предложенную роль, его надо просветить и политически образовать. Объяснить, что полезно и

что вредно для общества, о котором ему, согласно его новому статусу, надлежит думать и заботиться.

Как известно, официальной идеологией, вложенной в том числе в уста «новых интеллигентов», у нас является «теория модернизации». Мы более или менее знаем, что это такое. Это нанофильтры в дополнение к ржавой нефтяной трубе. Это амнистия капиталов. Это деградация науки, армии и индустрии. Это реформация православия плюс секвестр всего на свете — бесплатного образования и медицины, пенсионного возраста, родительских прав. Ну и регулярное хождение на митинги.

Если опыт доведут до конца, все эти «ценности» новому гегемону придется принять, а затем заставить принимать и нас. Поэтому следует сказать несколько слов об их происхождении.

После развала СССР и упразднения истмата в статусе интеллектуально модных побывало множество общественных теорий. Теория тоталитаризма, конфликта цивилизаций, конца истории и проч. Не последнее место среди них занимает «теория модернизации». Суть её, если говорить коротко, заключается в следующем: развитые страны указывают менее развитым их путь. Менее развитые усваивают их идеологию и проходят их стадии развития — в общем, «модернизируются».

Возникла эта теория в 50-60-е годы XX века и использовалась для контроля за бывшими колониями. Эти самые колонии, страны третьего мира, получили политическую свободу, но их нужно было

вторично привязать к себе. Уже экономически. В период разрядки «теория модернизации» окончательно была признана несерьёзной и пропагандистской. Работы независимых исследователей показали, что метрополии вовсе не нуждаются в новых конкурентах и потому, используя свое влияние и финансовые инструменты, напротив, консервируют и тормозят развитие стран-аутсайдеров. Но после краха СССР «теорию модернизации» вновь вытащили из чулана, чтобы применить к новичкам из бывшего Восточного блока. Вот и вся разгадка. Вот с чем мы имели дело раньше и имеем сейчас. Вот с чем нам предстоит иметь дело в будущем.

Именно «новой интеллигенции» поручено закатать эту капсулу в «толстый-толстый слой шоколада», состоящий из гуманитарных ценностей. И эти люди будут служить нам моральным камертоном и являть чудеса гражданственности. А нам остаётся лишь наблюдать, удастся ли «новой интеллигенции» заставить власть вновь принять её на службу и бюджетный кошт.

По большому счёту со времён Петра Чаадаева интеллигенция занималась перетолковыванием европейской культуры, называя это «западничеством». Либо развивала идеологию правящего режима, называя это патриотизмом. А если режим был либеральным, то обе функции совпадали, являя собой наиболее полную картину общественной деятельности интеллигенции — отсюда пошло расхожее выражение «либеральная жандармерия».

Собственно говоря, государство в России, взятое в пределе, в своей высшей точке, — это и есть «либерализм» для верхов и диктатура для низов. Соединить обе сущности в одну и объяснить, что это и есть «модернизация», — вот главная задача, которую власть может поставить сегодня перед интеллигенцией, если в очередной раз призовет её на службу. Этого-то и добиваются писатели, которые гуляют по бульварам и величают себя новой интеллигенцией.

IV

Именно сейчас, когда интеллигенция уходит в прошлое, многое в её судьбе стало понятнее. Само понятие «российская интеллигенция» обнаружило свою местечковость и тавтологичность. Интеллигенция потому, кстати, и потерпела историческое поражение, что была явлением глубоко почвенным и провинциальным — вопреки своим зачастую ультразападническим взглядам.

В Европе, как известно, термин «интеллигенция» указывает просто на образованных людей, интеллектуалов и ничего более не означает. В России же он долго обозначал замкнутое в себе сословие с амбициями учителей нации и подателей благ мировой культуры. Между прочим, последнее обстоятельство решительно опровергает тезис самих интеллигентских вождей об интеллигенции как творческом сословии. Всё ровно наоборот. Европейские интеллектуалы именно что создавали пресловутые «духовные ценно-

сти», каждый на свой национальный лад. Российская же интеллигенция жила тем, что пыталась продавать на внутреннем рынке ценности, созданные этими интеллектуалами, но при этом не умела их как следует усвоить. То есть никакой интеллектуальной самостоятельностью она не обладала и приобретать её не собиралась. Она попросту гнала контрафакт. Творческая вторичность — вот её главная черта.

Таким образом, интеллигенция и весь её *modus vivendi* — явление сугубо местное, российское и глубоко почвенное. Никаких европейских аналогов оно не имеет. Поэтому чем большими «западниками» считались те или иные интеллигентские группы (покажите мне хоть одного «западника» в Европе), тем большими почвенниками они были *de facto*, не в обиду официальным почвенникам будь сказано.

Неудивительно, что эпоха постмодерна съела бывших «учителей нации» — во всём вторичных и не имевших навыков духовного самостояния. А что в этом удивительного: ведь постмодерн и есть диктатура вторичности, симуляции. Имели ли представители интеллигентского слоя волю и духовный ресурс для сопротивления? Ответ очевиден. Напротив, насколько это было возможно, они симулировали свою былую идентичность и, так сказать, обозначали присутствие. Но, в конце концов, даже такая стилизация сделалась невозможной: слишком изменился социокультурный контекст.

Так в нашей стране влед за крестьянством и пролетариатом умерла интеллигенция. Причем ген

смерти был заложен в её организме с самого начала. Новая политическая реальность всего лишь активировала его.

Но, как известно, свято место пусто не бывает. Где нет претензий на национальное водительство, пусть и несостоятельных, там начинается прямая манипуляция сознанием масс. Именно эти функции выполняет «креативный класс», который пришел на место уничтоженной интеллигенции. Что это такое? Новая примитивная общность, паразитирующая социальная прослойка. Только она продаёт и навязывает массам не идеологию и мировоззрение, как это делали менторствующие интеллигенты, а готовые стандарты потребления и модели поведения, неизбежные в условиях победившего рыночного фундаментализма. Всё это навязывается в чистом виде, без интеллигентского гарнира в виде «духовности». В антиглобалистских кругах это блюдо поэтично называют «религией матрицы».

Любопытно, что новую реальность быстрее заметили и проанализировали публицисты левой ориентации, а не консерваторы и последователи «Вех». Например, историк и социолог Борис Кагарлицкий в своей статье «Загадка креативного класса» справедливо замечает:

«По отношению к обществу они (представители «креативного класса») представляют собой явление того же порядка, что и финансовые и биржевые пузыри по отношению к экономике. Главное “производство” креативного класса — это его собственный образ жизни, его вкусы, пристрастия и развлечения...

Креативному классу все должны, в том числе и буржуазия. Все слои и группы общества должны преклониться перед его креативностью, а буржуазия должна ещё и заплатить. Причем она, в самом деле, платит. И очень щедро».

Все правильно. В то же время Б. Кагарлицкий уверен в том, что «это не старая творческая интеллигенция, не интеллектуалы-специалисты, не лица свободных профессий, не эксперты-профессионалы, не ученые-исследователи. С ними креативный класс находится даже в некотором противостоянии, точнее — с основной массой старой интеллигенции...».

Но действительно ли нет глубинной связи между бывшими интеллигентами и нынешними «креативными»? И да, и нет.

«Креативные» — преемники интеллигентов в том, что касается эпитонства и потребительской психологии. Но если интеллигенция осуществляла эту функцию в рамках культурной парадигмы, то «креативные» реализуют её в товарных фетишах и символах гламурного образа жизни. Но как бы там ни было, произошло то, что произошло. Социальное тело интеллигенции стало экспонатом исторической кунсткамеры. Ломание копий вокруг этого факта выглядит весьма трагикомично. Пора похоронить усопшего со всеми полагающимися почестями.

Но прежде, чем дело дойдет до похоронного ритуала, следует констатировать смерть как медицинский факт. Здесь важны формальности. Это не каприз и не поза. Смерть необходимо удостоверить официально —

эту цель, в частности, преследует настоящая статья. Без этой формальности социальное тело покойного ещё живет, в то время как тело биологическое уже затвердело. Мало того, иногда социальную жизнь искусственно продлевают. Например, кто-нибудь не в меру находчивый, переклеив фотографию в паспорте, может воспользоваться документами умершего. Иногда с их помощью удаётся продать оставшуюся от покойного жилплощадь.

Что такое «квартира» старой интеллигенции? Это её общественная ниша и вечные претензии на роль нового дворянства. Всё это по логике вещей должно аннигилироваться в потоке истории. Но не всех такая ситуация устраивает. Иные готовы, используя подлог, продлить покойному его бумажную жизнь.

Например, болотные вожди. Выводя на улицу «рассерженных горожан», они специально нарекли их «новой интеллигенцией». То есть людьми с умом, честью и совестью. Ум, по мысли оппозиционных лидеров, заключался в том, что оные горожане жили «креативом» — то есть, например, исполняли обязанности офис-менеджеров и копирайтеров, вкладывая в эти занятия данные им Богом таланты. Ну, а совесть и честь — это ещё проще. За совестью и честью надо было приехать в центр Москвы с белой ленточкой на лацкане. Там люди, подобные доброму Гудвину из «Изумрудного города», раздавали эти моральные достоинства щедрою рукой. В расчёте на будущую поддержку. Но авансы не оправдались. Тренд «новой интеллигенции» не задался: представи-

тели миддл-класса плохо усваивали тонкие градации интеллигентской этики. Да и сами протесты сдулись, как только левое большинство поняло, что либеральные вожди добиваются не смены системы, а всего лишь смены караула.

На самом деле интеллигенция не может воскреснуть. Новая интеллигенция невозможна. Да и не нужна. Нужен новый слой. Слой органических интеллектуалов, уважающих национальные ценности, традицию, принципы социальной справедливости и нравственные нормы, включая православную этику. Только такая общность может составить конкуренцию «креативному» классу, который живёт на информационную ренту и формирует ложное сознание российского большинства.

Александр Щипков

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя	III
М. А. Тюренков – Православная этика и дух солидаризма	3
С. Ф. Черняховский – Традиция, модерн и сверхмодерн	16
Е. А. Белжеларский – Логика и смысл современного либерализма...	26
А. В. Щипков – Левый консерватизм.....	48
М. К. Кантор – Перспективы авангарда.....	80
В. Т. Третьяков – Конец партийности и сословная демократия ..	116
И. Д. Потапов – Нравственность как точная наука	134
А. В. Щипков – Смерть интеллигенции	153

Подписано в печать 21.05.2013
Формат 60x84/₃₂. Объем 10,6 усл. печ.л.
Тираж 1000 экз. Отпечатано в России
Собственная типография издательства «ПРОБЕЛ-2000»
тел. (495) 287-06-19 e-mail: probel-2000@mail.ru

ISBN 978-5-98604-382-1



9 785986 043821